

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 10

1980



Юрий КОРНИЛОВ

**ПОД КРЫШЕЙ,
НА КОТОРОЙ
ЖИВЕТ КАРЛСОН**

М О С К В А

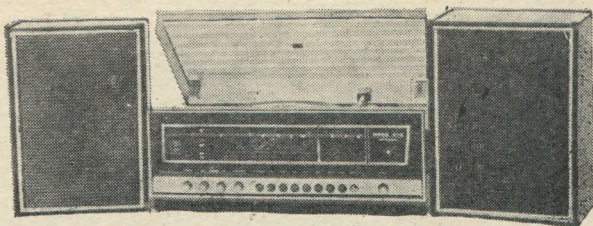
ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

Цена 10 коп.

Индекс 70668

ПОПУЛЯРНАЯ «ВЕГА»



«ВЕГА-312 СТЕРЕО» — одна из самых компактных среди отечественных стереофонических радиол.

Ее акустические системы можно удобно разместить даже в небольшой комнате. Выполнена радиола полностью на транзисторах.

Надежность, хорошее качество звучания, уверенный прием радиостанций в 5 диапазонах волн, в том числе двух коротковолновых, — несомненные достоинства этой модели.

Любую стерео- и монофоническую грамзапись отлично воспроизводит электропроигрывающее устройство радиолы. Автостоп и микролифт уберегут пластинку от повреждений.

«Вега-312 стерео» удостоена государственного Знака качества.

Цена радиолы — 171 руб.

ЦКРО «ОРБИТА».



Юрий КОРНИЛОВ

ПОД КРЫШЕЙ, НА КОТОРОЙ
ЖИВЕТ КАРЛСОН

Юрий КОРНИЛОВ

Юрий Эмануилович Корнилов (родился в 1927 году) — журналист-международник, член Коллегии ТАСС, руководитель группы политических обозревателей агентства. Работал собственным корреспондентом ТАСС в Югославии и Нидерландах, в качестве спецкора ТАСС выезжал во многие страны мира. Автор ряда книг на международные темы. Лауреат премии Союза журналистов СССР, заслуженный работник культуры РСФСР. За плодотворную работу в печати награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени.

В эту книгу включены очерки о выдающихся зарубежных писателях, с которыми автор встречался в Москве и за границей.

НАШ ДРУГ АЛЕКС ЛА ГУМА

В выпущенный в 1978 году московским издательством «Прогресс» сборник «Избранные произведения писателей Южной Африки», первый такого рода сборник в нашей стране, включен наряду с другими рассказ Алекса Ла Гумы «Свой дом». Рассказ небольшой, всего в две с половиной странички, но прочтите его и, уверен, вы почувствуете, как у вас защемило сердце. Сюжет этого произведения прост и в то же время глубоко трагичен, как трагична вся жизнь коренных обитателей ЮАР. Грузчик Джонас и его жена Кора, ожидающая ребенка, остались без крова, а между тем приближается зима, когда никак не обойдешься без крыши и очага. Скитаясь по дорогам страны, они обнаруживают на поляне огромный бак для воды — старый, дырявый, никому не нужный. Вот он, свой дом! Джонас и Кора скребут и чистят ржавые стенки, оклеивают их картоном, сооружают очаг и вечерами сидят у своего жилища рядышком, глядя на сверкающие машины, мчащиеся по шоссе. Это — почти счастье. И вот, когда в глазах Кору засиял тот свет, которым озаряется сама мать-земля ранней весной, к дому подъехал фургон с полицейскими. «Жить здесь запрещено указом министерства здравоохранения!» Полицейские ломами разрушают жилище, и тихо плачет Кора, и Джонас, оглушенный гневом и горем, видит, как меркнет свет в глазах жены... Как же родился этот рассказ?

— На окраине моего родного Кейптауна высится гора, на склоне которой лепится «тенемент» — убогий и нищий городок бедноты, целиком слепленный из гнилых досок, старых рекламных щитов, из кусков фанеры и ржавой жести, — рассказывает Ла Гума. — Там жили, да, думаю, и сейчас живут многие из моих друзей. Там я встретил и Джонаса; он, правда, был не грузчиком, а каменотесом, и звали его иначе, но все остальное совпадает почти в точности. Рассказ «Свой дом» — это кусочек реальной жизни народа ЮАР...

Мы встретились с Ла Гумой в Москве, куда он приехал на несколько дней по делам Ассоциации писателей стран Азии и

Африки. Писателю за пятьдесят, серебристые пряди красиво оттеняют вишневую смуглость его твердого, спокойного лица, но он улыбочив, быстр в движениях, а темные глаза блестят задорно и молодо.

— Сейчас обдумываю план своего шестого романа, пятый, «Время сорокопута», только что вышел из печати в Англии. Тема? Разумеется, я остаюсь верным избранной дороге: речь идет о борьбе против империализма и расизма на моей родине, в ЮАР. Сюжет не выдуман, он опять-таки взят из гущи жизни: главный герой, африканец, мстит белому, из-за которого погиб его брат. Эта месть жестока, жертвы велики, но пролитая кровь не приносит мстителю удовлетворения: он видит, что на смену одному расисту приходит другой, еще более жестокий. Постепенно, шаг за шагом, жизнь подводит моего героя к мысли, что с расизмом, с апартеидом нельзя покончить средствами индивидуального террора — для этого нужна массовая организованная борьба...

Каждый писатель приносит в литературу крупницы своей биографии, своего личного жизненного опыта. Это вдвойне верно для Ла Гумы, чья жизнь сама по себе могла бы послужить канвой для героической и увлекательной повести о человеческой стойкости, мужестве, верности избранным идеалам. Он родился в Кейптауне в семье рабочего-сапожника Джимми Ла Гумы, который еще в юности самоучкой прочел Маркса и Гегеля, а к тридцати годам приобрел известность как видный деятель рабочего движения, один из основателей Южно-Африканской коммунистической партии. Когда Алексу было два года, его отец — первым из южноафриканских коммунистов — побывал в Москве, на праздновании 10-й годовщины Октябрьской революции. Из советской столицы он привез в Кейптаун портрет человека в скромном костюме и матерчатой кепке, с зорким взглядом светлых, чуть прищуренных глаз. Этот портрет стал единственным украшением крошечного домика Ла Гумы, прижавшегося к другим таким же домишкам в рабочем квартале Кейптауна, и маленький Алекс, подрастая, часто был свидетелем того, как рабочие, собиравшиеся по вечерам у отца, подолгу вглядывались в лицо человека на портрете, и в тесной, бедно обставленной комнатухе, где плавали клубы сигаретного дыма и лежали на столе плотные, еще пахнувшие типографской краской пачки листовок, звучало как партийный пароль и боевой лозунг имя, так хорошо знакомое пролетариям всего мира: «Ленин»!

Дорога отца — это часто и дорога детей: Алекс был еще безусым юношей, не окончившим школу, а рабочая молодежь Кейптауна уже знала его как активного комсомольца, органи-

затора бурных молодежных манифестаций, участники которых, сжимая в руках транспаранты с призывами покончить с эксплуатацией и расизмом, смело шли навстречу солдатским штыкам. В девятнадцать лет рабочий кейптаунского металлического завода Алекс Ла Гума становится членом коммунистической партии. Его дальнейшая жизнь — это полная горения, невзгод и опасностей жизнь коммуниста-подпольщика, страстного публициста. Один за другим следуют аресты: центральная тюрьма Кейптауна, что на улице Ролланд-стрит, «Яма смерти» — тюрьма на каменистом, бесплодном острове Роббен, созданная на месте бывшей колонии прокаженных, страшный каменный мешок в Йоганнесбурге, известный под названием «Форт». Там, в «Форте», заключение было особенно тяжким: Алекс знал, что вместе с ним полиция схватила и Бланш, его невесту, занятую организацией партийных ячеек в одном из рабочих предместий. Где она, что с ней? Эти мучительные вопросы рождали бессонницу... И вдруг однажды — это было в день 7 ноября — в перечеркнутое стальной решеткой оконце камеры ворвалась мелодия «Интернационала». Пели в женском отделении тюрьмы, и этот звонкий, задорный голос он узнал бы из тысячи голосов: то пела Бланш! Он подхватил песню, за ним последовали другие заключенные, и вот уже слова славного пролетарского гимна звучат над тюрьмой, заглушая проклятия и ругань тюремщиков...

— На протяжении ряда лет я активно сотрудничал в прогрессивных органах южноафриканской печати, таких, как «Драм», «Файтинг ток», «Нью эйдж», но о писательстве не помышлял, — вспоминает Ла Гума. — Но вот однажды — это было в конце пятидесятих годов, — роясь в нетронутых книжных завалах в лавке знакомого букиниста, я обнаружил увесистый том: «Максим Горький. Избранное». Горький? Но ведь это запрещенный, «красный» писатель, о нем не раз с восхищением говорил отец. Поздним вечером, вернувшись с завода, я при свете копилки читал, точнее, глотал новую книгу, и у меня было отчетливое ощущение человека, который долго находился в тесном, душном помещении, где не хватало кислорода, и вдруг неожиданно получил возможность полной грудью вдохнуть свежий воздух. Поражал не только открыто бунтарский дух горьковского слова, не только удивительно яркие, выпуклые образы героев. Сразу же, с первых страниц, возникла и прямо-таки вгрызлась в мозг неожиданная, как мне тогда казалось, мысль: да ведь всех этих людей я знаю, знаю! Пусть у нас, в Южной Африке, они живут во многом иначе, чем там, в далекой России, но ведь это те же самые люди: рабочие, мастера, обитатели городских трущоб... Мы вместе росли, мы играли на пустырях

и делили пополам единственную майсовую лепешку, мы дружим и сейчас, но неужели эти люди могут быть героями литературы? А если это так, то почему бы и мне не попробовать рассказать о тех, кого я так хорошо знаю?.. Тогда-то я и послал в газету «Нью эйдж», проводившую литературный конкурс, свой первый в жизни рассказ «Ноктюрн» — речь в нем шла об отчаявшемся бродяге, голодном и бездомном, который, решив совершить кражу, вдруг застывает как зачарованный под окном дома, где девушка играет на пианино... Через неделю меня пригласили в «Нью эйдж», и старый редактор, чье имя с уважением произносили в партии, сказал: «У тебя талант, Алекс. Но помни: слово, как птица, рождается с крыльями. Всегда, что бы ни случилось, рассказывай правду и только правду о нашей стране и о нашей борьбе».

«Говорить правду, только правду!» — эти слова были и остаются девизом Ла Гумы. Именно поэтому каждая его повесть, каждый сборник рассказов — беспощадное обвинение империализма. Кто не знает, что представляет собой ЮАР, этот бастион расизма, где насчитывается более 26 миллионов жителей, но всеми делами направляет «белое меньшинство», подвергая свыше 20 миллионов черных и «цветных» самой жестокой эксплуатации, лишая их элементарных человеческих прав? Это страна, где африканцы имеют право лишь на 13 процентов земли, да и эта земля представляет собой бесплодную пустыню. Страна, где на 44 тысячи африканцев приходится один врач, где детская смертность среди африканцев впятеро выше, чем среди белых, а три процента населения постоянно находятся за тюремной решеткой. Страна, которая наряду с другими мрачными «рекордами» держит мировой рекорд по числу собранных полицией в расчете на душу населения отпечатков пальцев: в гигантской, оборудованной электронной техникой «дактилоскопике» зарегистрировано почти 15 миллионов африканцев! Обо всем этом мы хорошо знаем, но Алекс Ла Гума, бесспорно, добавляет к нашим знаниям и нечто новое: его творчество помогает миллионам людей глубже понять, какие огромные опасности несет империализм народам Африки, дает возможность вблизи, крупным планом увидеть звериный оскал расизма. Со страниц его произведений Южная Африка встает такой, как она есть: гигантские гетто для черных и цветных, где в скученности, в болезнях, в тяжком, непосильном труде влачат существование огромные массы бесправных людей; полицейские участки с их неистребимым кислым запахом крови и рвоты; старые тюрьмы, построенные еще во времена королевы Виктории, и тюрьмы новые, сооруженные уже в наш «просвещенный век»; покосившиеся, продымленные рабочие бараки, для оби-

тателей которых наличие грошовой работы — уже счастье, а самое редкое праздничное блюдо — горшок убоины по шесть пенсов за фунт. И снова тюрьмы, и лачуги безработных, и выложенные холодным, равнодушным камнем камеры пыток, и залы судебных заседаний, где само слово «закон» звучит как издевательство или горькая ирония, ибо черных и «цветных» тут не судят — с ними расправляются.

Да, страшная страна, страна-тюрьма, страна-застенок встает перед читателем со страниц книг Ла Гумы, но с какой любовью, с каким уважением и гордостью говорит он о своих соотечественниках — обитателях расистских гетто! И как хорошо он знает их — и этих суровых, молчаливых черных горняков с золотых и алмазных приисков, и портовых грузчиков, и водителей грузовиков, и измученных тяжелой долей женщин, и оборванных, худых ребятишек, пытающихся отыскать что-либо съестное в мусорном ящике, и бродяг, которых суровая, беспощадная жизнь столкнула на самое «дно», но которые и там стараются сохранить главное — свое человеческое достоинство. А рядом вереница иных персонажей, говоря о которых писатель не скрывает презрения и гнева. Современные рабовладельцы, принадлежащие к верхушке «белой элиты». Их подручные — бесчисленный сонм государственных чиновников, полицейских, сыщиков, платных и бесплатных доносчиков, судей, следователей, тюремных надзирателей, палачей. И все это отнюдь не некая аморфная масса. Вот жалкий уголовник Солли, играющий в тюрьме роль добровольного шута: «Он был смятой, смазанной, набранной петитом, жалкой копией человека, с глазами, как два расплывшихся плюса под морщинистыми веками, со ртом, как нечеткое тире между двумя глубокими скобками». Налетчик, ограбивший бакалейную лавку: «У него было круглое коричневое лицо, и улыбался он до ушей, показывая красные десны — словно взрезали арбуз». Полицейский сержант: «Красное лицо хищно улыбалось белыми губами, как раскрытый капкан». Всего несколько строчек, жесткое, но всегда неожиданное и меткое сравнение, острая метафора, зорко подмеченная деталь — и любой, даже второстепенный персонаж приобретает четко выраженную индивидуальность, его видишь, запоминаешь...

— Правители ЮАР жестоко расправляются с безоружными демонстрантами, они устраивают массовые кровавые побоища в африканском пригороде Йоганнесбурга Соуэто, но особенно безжалостно эта свора гиен преследует тех, кто стремится говорить правду, — рассказывает Ла Гума. — В ЮАР, этом расистском заповеднике, который словно в насмешку именуется «республикой», любое проявление свободомыслия рассматривается

как тягчайшее преступление против «безопасности государства». Я уж не говорю о том, что империалисты и расисты издавна и с особой страстью подвергают гонениям африканскую культуру и литературу, стремясь представить их как нечто хаотичное, не имеющее какой-либо ценности и не связанное с мировой цивилизацией. Стоит ли удивляться, что и моя литературная, журналистская работа с самого начала вызывала взрывы ярости в Претории? Более одиннадцати лет я провел за тюремной решеткой. Когда же создалась ситуация, при которой даже и насквозь лицемерный расистский суд уже не решался открыто на весь мир обвинять писателя в «подрывной деятельности», министерство юстиции прибегло к другой, особо изощренной форме преследования, особым декретом приговорив меня к пятилетнему «домашнему аресту». Это означало полную изоляцию: пять лет я был не вправе покидать свой дом, мне было запрещено встречаться с друзьями, видеть родных. В 1966 году, когда стало известно, что «домашний арест» будет продлен еще на пять лет, друзья из руководства Африканского национального конгресса посоветовали мне: вам нужно уехать, Алекс, — здесь, в ЮАР, расисты твердо решили задушить вас как писателя. Месяц спустя мы с Бланш уже сходили по судовому трапу на английскую землю. В скромном багаже, доставленном на нашу новую квартиру в Лондоне, находились рукописи книг, которые не удалось опубликовать в Кейптауне, и, конечно, портрет Ленина, привезенный из Москвы покойным отцом...

Может ли быть для человека наказание страшнее, чем лишение его родины? Можно ли ранить писателя глубже, чем толкнув в эмиграцию, вырвав из родной почвы, которая всегда питала его творчество, лишив возможности общаться с соотечественниками, которым он прежде всего и адресовал свои выношенные, выстраданные, кровью написанные строки? Правители ЮАР, вынудив Алекса Ла Гуму покинуть родные края, рассчитывали, что тем самым нанесли «бунтовщику из Кейптауна» смертельный удар. Прошли годы. И что же? Ла Гума признан ныне крупнейшим современным писателем Южной Африки, его произведения изданы и издаются огромными тиражами почти в двадцати странах мира, в том числе в СССР и ГДР, США и Англии, Португалии и Вьетнаме, Польше и Швеции. Он удостоен высокого звания лауреата международной премии «Лотос». Его страстные призывы к борьбе против империализма, расизма, за мир и дружбу между народами в полный голос звучат на многих важных международных форумах, проводимых Организацией солидарности народов Азии и Африки, Всемирным Советом Мира. На состоявшемся в июне 1979 года в

столице Анголы — Луанде — VI конференции Ассоциации писателей стран Азии и Африки, в которой приняло участие свыше 80 делегатов из 38 государств, он единогласно избран генеральным секретарем этой авторитетной международной писательской организации. Нужны ли иные доказательства того, что творчество Ла Гумы признано и высоко оценено и самым широким кругом читателей в разных странах и его собратьями по перу?

— Разумеется, нет писателя, которому не доставлял бы глубокой радости и удовлетворения тот факт, что его книги широко издаются на разных континентах,— говорит Ла Гума.— Но для меня особенно важно то, что мои произведения вопреки всем рогаткам и препонам проникают и на мою родину. По понятным причинам я не могу во всеуслышание назвать сегодня источники, из которых я получаю эти данные. Но они, поверьте, абсолютно точны: категорически запрещенные Преторией книги с моими повестями и рассказами знают в ЮАР, мои соотечественники читают их, размножают с помощью ротаторов, передают из рук в руки, хотя всем известно, что тот, кто будет схвачен с «подрывной литературой» в руках, рискует свободой. Иными словами, у меня, как у писателя, есть главное: живой контакт с моим народом, с соратниками по борьбе. Это придает силы в работе, укрепляет веру в победу...

И Алекс Ла Гума продолжает работать — напряженно, неустанно; он успешно сочетает исключительно активную общественную деятельность со столь же напряженной, активной деятельностью литературной, он полон ярких творческих планов, и, обращаясь к расистским правителям ЮАР, он говорит им устами одного из своих героев — стойкого борца против апартеида, чей образ выведен им в повести «В конце сезона туманов»: «Вам больше ничего не остается, как стрелять, пытаться, убивать. Народ отвергает вашу власть. Ваш конец близок. Вы катитесь с горы в бездну и хотите прихватить с собой побольше народу, чтобы не подыхать в одиночку...»

— Повесть «В конце сезона туманов» писалась несколько лет назад, но уже тогда стало совершенно ясно, что расизм в ЮАР обречен,— говорит Ла Гума.— И дело не только в том, что против этого варварского режима и его покровителей на Западе все более решительно выступает вся международная общественность. Главное в том, что в самой ЮАР выросли, созрели, окрепли силы, способные взять в свои руки развитие событий. Времена, когда один из друзей моей юности, пастух, всю жизнь перебивавшийся подающими деревенской общины и выведенный в той же повести под именем Элиас, мучительно ломал голову над вопросом: «В чем же дело? Ведь мы такие

же, как они. Почему же мы целый день батрачим на них, а на свой надел времени не остается?» — эти времена прошли навсегда! Теперь миллионы людей на моей родине хорошо понимают, «в чем дело», отчетливо знают, кто подлинный виновник бесчисленных человеческих трагедий, повседневно, ежечасно разыгрывающихся на юге Африки. Это империализм. Народ ЮАР борется не против белых — борьба идет против реакции, угнетения, фашизма, расизма, гнев прорастает в сердцах миллионов, его горькие зерна все сильнее стучат в их мозг...

Медленным движением он стряхнул голубоватый пепел с дымящейся сигареты, помолчал, улыбнулся.

— И знаете, о чем мы мечтаем иногда вдвоем с Бланш? У нас есть внук, его назвали Джимми — в честь моего отца, которому, как я уже говорил, еще более полувека назад выпала честь и счастье побывать в СССР, на родине социализма. Маленький Джимми никогда не видел Африки. И вот, раздумывая с Бланш о будущем, мы видим в мечтах нашу свободную страну, навсегда разорвавшую цепи рабства, и родной красавец Кейптаун, и просторные книжные магазины, путь книги к которым не преграждает злобная и тупая цензура, и светлый дом в новом рабочем квартале, где живет наш внук Джимми, свободный гражданин свободной страны. А на стене его квартиры — портрет человека в скромном костюме и матерчатой кепке, тот самый портрет, который мой отец, Джимми-старший, много лет назад привез из советской столицы и который с тех пор бережно хранится в нашей семье как самая драгоценная реликвия...

Он еще с минуту помолчал и закончил:

— Так будет, будет! Но путь к этому один: борьба.

«СНАЧАЛА МЕЧ И БОРЬБА...»

Ему часто приходится быть в пути, и он приучил себя работать где угодно: в отеле, в кафе, в салоне самолета. В московской гостинице «Советская», где поэт остановился в свой нынешний приезд в Москву, он облюбовал для работы крошечный, чуть больше подноса, столик, на котором с трудом размещается всего три-четыре предмета: простой стеклянный кувшин с весело выглядывающей из него чайной розой, портативный магнитофон «Филипс» в черном кожаном футляре да стопка бумаги — верхний лист исписан крупным, округлым, ровным почерком.

— Журнал «Советская литература», выходящий на иностранных языках, попросил написать для него статью о Чехове. С радостью выполняю эту просьбу: ведь Чехов — один из первых в той неповторимой плеяде «великих русских», которые учат подлинному гуманизму, чье художественное творчество оказало такое огромное влияние на мировую, в том числе и пакистанскую, литературу...

Мы познакомились с Фаизом Ахмадом Фаизом еще в 1958 году на ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки — тогда он только-только начинал приобретать международную известность. С тех пор прошло более двадцати лет — немалый срок! Сегодня Фаиз — крупнейший поэт Пакистана, видный общественный деятель, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Время принесло ему настоящую славу, но время и отняло кое-что у того Фаиза, чьи стихи я слушал когда-то в столице Узбекистана. Тяжелее стала походка, резкие складки пролегли на смуглом лице. Поэту под семьдесят, и все же не приметы старости, а кипучая энергия, живой и искренний интерес к людям и не дающее душевного покоя чувство тесной причастности ко всему, что происходит в мире, — по-прежнему главное в нем. Крепкий, коренастый, с крупной, красивой, прочно посаженной головой, он широко шагает по комнате — руки сцеплены сзади, кустистые седые брови сдвинуты к переносице, а в глубине темных глаз — искры улыбки.

— Да, вы правы: двадцать лет — большой срок, причем не только в жизни человека, а и в жизни страны, но сейчас, вновь побывав в СССР, я могу с уверенностью сказать: тот путь, который прошел за эти годы ваш народ, не каждой стране пройти и за столетие! Как выросли, похорошели и Москва, и Ленинград, и другие советские города, как впечатляет гигантский размах ваших новостроек! Дерзкий прорыв в космос, создание на просторах Сибири величайших в мире гидроэлектростанций, расцвет науки, литературы, культуры — все это золотой страницей войдет в историю человечества. И все же главное, что больше всего поражает в СССР иностранца, не в этом. Главное — в той неповторимой атмосфере энтузиазма и единства, атмосфере спокойствия, гордости, уверенности в правоте своего дела и в завтрашнем дне, которая, как я теперь понимаю, представляется советскому человеку чем-то само собой разумеющимся, но которая тем не менее не может не восхищать. Крупные современные новостройки можно в конце концов увидеть и на Западе, но где встретишь людей, которые так чувствовали бы себя хозяевами своей страны, как советские люди?..

«Сначала меч и борьба, потом уже красота и музыка», —

говорил великий предшественник Фаиза, прославленный индийский поэт-классик Мохаммад Икбал, воспевавший созидательную деятельность человека, призвавший сограждан отбросить религиозные распри и объединиться в борьбе за освобождение родины; теми же словами можно определить и жизненную позицию самого Фаиза. Именно эта позиция много лет назад, когда будущий поэт начинал в столице Пенджаба — Лахоре свой трудовой путь в качестве школьного учителя, привела его в ряды прогрессивного левого профсоюза, который он же вскоре и возглавил. Именно эта позиция в годы второй мировой войны заставила молодого педагога добровольно одеть военную форму: он понимал, что на данном этапе главное — борьба с фашизмом, во имя этой борьбы можно пойти даже на временное сотрудничество с колонизаторами-англичанами; и он окончил войну в чине полковника, удостоенного высоких боевых наград. Стремление внести свой вклад в борьбу за свободу родной страны выдвинуло Фаиза в ряды организаторов демократической Ассоциации прогрессивных индийских писателей, сыгравшей заметную роль в формировании антиимпериалистических, антиколониальных взглядов среди индийской интеллигенции; тема борьбы против империализма, реакции и гнета, за свободу, счастье народа пронизывает и его стихи. Я спрашиваю Фаиза, когда вышел в свет первый сборник его произведений, принесший ему известность как поэту.

— О, вопрос не так поставлен, — улыбается Фаиз. — Ведь поэзия на языке урду — а этот древний певучий язык зародился еще в XI веке в пестрой орде, вторгшейся в Индию из Средней Азии, — немыслима без живого общения поэта и слушателей; стихи на урду, по традиции, не просто читают вслух, их декламируют особым речитативом, нараспев, почти поют — вот почему вы видите на моем рабочем столике магнитофон. И любой верный народным традициям пакистанский поэт начинает не со сборника стихов, не с типографской машины — он начинает с «мушаира»...

Что такое «мушаира»? Представьте себе жаркий летний вечер в Лахоре и просторный шатер, установленный среди цветущих деревьев на одной из городских площадей, и сотни людей, тесно, плечом к плечу, сидящих в этом импровизированном «зале»: студенты, учащиеся колледжей и школ, рабочие в синих спецовках, чиновники в длиннополых черных кафтанах, горцы в широких шароварах, с кинжалами у пояса... Все они пришли сюда, чтобы посмотреть на «мушаира» — состязание поэтов. Один за другим поднимаются стихотворцы на деревянный помост — они говорят (а многие скорее даже поют) о цветах и звездах, о раненом сердце и прекрасных глазах любимой. Им

аплодируют — одним сдержанно, другим горячо. Но вот в дрожащий желтый круг, образуемый светом чуть колеблющихся ламп, вышел Фаиз. Он начал читать стихи — и как затих, затаил дыхание зал! Люди сразу ощутили, поняли: почерк этого поэта резко отличен от других. О, нет-нет, это отнюдь не значит, что Фаизу чужды прекрасные традиции восточной поэзии — его стихи глубоко лиричны, и, когда поэт читает свои произведения, впечатление такое, будто он ткет по некоему волшебному полотну яркий, прихотливый, неповторимый по красоте узор. Но вместе с тем звучат в его стихах и протест, и гнев, и острая боль за тех, кто угнетен и несправедливо обижен, и страстный призыв к борьбе. И, слушая его, люди не могут сдержать возгласов одобрения, а многие (вот оно, подлинное признание поэта!) начинают хором скандировать вслед за Фаизом так взволновавшие их строки:

Путь верности — короткий, трудный путь,
Лишь сильным можно по нему идти,
Избрав дорогу, мужественным будь —
Ведь виселица ждет в конце пути.
Благоразумье мне твердит: «Молчи!»
А сердце мне велит: «Кричи! Кричи!»
Ну как избуду я беду мою?
Как песне прикажу я: «Замолчи!»
И сердцу как скажу я: «Не стучи!» —
Когда я о тебе, отчизна, думаю...

В 1947 году, после того как британский колониализм в Индии рухнул, было провозглашено создание независимого государства Пакистан, но многомиллиардный британский капитал еще прочно гнезвился на пакистанской земле, а одновременно к новому государству потянулись хищные и алчные щупальца и могущественных американских монополий. При поддержке извне в Пакистане крепили реакционные силы, они встречали в штыки любую попытку осуществить в стране прогрессивные преобразования и реформы, все более жестоким репрессиям подвергались коммунистическая партия, демократические общественные организации, профсоюзы. На этом фоне «бунтарские» выступления поэта, который являлся к тому же членом Всемирного Совета Мира, видным профсоюзным деятелем и главным редактором прогрессивной газеты «Пакистан таймс», воспринимались в правящих кругах как «подрыв основ», дерзкий вызов «сильным мира сего», и чем большую популярность приобретали пламенные стихи Фаиза, тем теснее сжималось вокруг него враждебное кольцо. Он это видел, понимал — и когда

ночью в его дом ворвалась полиция, он встретил ее спокойной презрительной улыбкой. Реакция знала, как нанести поэту особенно тяжкий, болезненный удар: его, обвиненного в «участии в антиправительственном заговоре», не просто заключили в одну из самых мрачных тюрем страны — тюрьму «Монтгомери», его бросили в камеру-одиночку, в тесный и душный каменный мешок, и начальник тюрьмы, жирный, обрюзгший, обтянутый американским «хаки» старик с налитым кровью затылком, сказал «заключенному № 1086»:

— Читать, писать, петь запрещено. Если обнаружу лист бумаги — карцер!

...Ночь, тишина, тюремный колокол глухо отбивает время. Вот зазвенели в руках тюремщиков невидимые связки ключей, слышен мерный стук сапог — то сменяется стража, железные ворота во дворе лязгнули, как челюсти, дожевавшие последний кусок звездного неба,— значит, еще один день прошел? Один тюремный день из 1700, которые ему предстоят... Сознание того, что неволя будет длиться и завтра, и через неделю, и через год, может породить у иных заключенных чувство отчаяния, безысходности — у иных, но не у него, Фаиза, которого народ назвал своим, народным поэтом! И вот друзья переправляют охваченной тревогой и печалью жене Фаиза, Элис, его письмо: «Нельзя позволить себе устать в неравном бою; хорошо уставать, когда все в порядке. Тебе мои мысли могут показаться нелепым парадоксом, но это факт: мало просто драться, драться надо с задором и не жалея себя — очень важно уметь это, иначе борьба будет тяжелой и меньше надежды победить». А некоторое время спустя становится известным, что рабочие Лахора, студенты тайно переписывают от руки, размножают на гектографах и передают друг другу новые строфы Фаиза, рожденные в тюрьме «Монтгомери» и какими-то тайными, чудесными путями переправленные на волю:

Отобрали перо — все равно я пою,
 не замкнуть мой источник сил!
В сердце, в горячую кровь свою
 пальцы я погрузил.
Молчать не стану я все равно,
 и пусть на устах печать —
Каждое цепи моей звено
 заставлю я песней звучать!

— В те тяжелые, трудные годы я особенно остро, всем сердцем ощутил, как прекрасна моя родина, страна, от которой

меня отделяют высокие каменные стены и тюремная решетка, — вспоминает Фаиз. — В камере-одиночке родилось много лирических произведений, вошедших впоследствии в сборник «Тюремные стихи»; я декламировал их вполголоса, чтобы не услышали надзиратели, и так же, как музыка всегда вызывает отклик человеческого сердца, так и мои лирические напевы порождали у меня самую целую цепь ассоциаций. Я декламировал стихи о родине — и словно исчезали, проваливались в небытие и грязно-коричневые тюремные стены, и уродливая тюремная одежда, и вся эта гнусная дрянь, что окружает арестанта. Иные картины вставали перед глазами: бескрайнее, не перечеркнутое решеткой бирюзовое небо над полноводным Индом, и продутые ветрами холмы Кашмира, и восьмигранные минареты знаменитой лахорской мечети Везир-хана, и молнии, сверкающие над манговыми рощами. Я видел стариков, булькающих трубками под развесистым деревом в центре деревни, деревенских горшечников, которые, щурясь от дыма, закладывают кизяк в печи для обжига посуды, ремесленника, украшающего затейливыми зелеными и золотыми орнаментами красные пиалы, слышал дробный стук молоточков чеканщиков на городском базаре, глухие удары дождевых капель по листьям миндальных деревьев и бормотание далекого ручья... Я видел и слышал родину — и никакие тюремщики не могли отнять у меня этого счастья!..

Прошли годы. Сегодня общепризнано, что Фаиз — один из крупнейших современных поэтов Азии, его творчеству посвящено немало книг, сотни статей. Отмечая высокую гражданственность, революционность, новаторство его поэзии, критики подчеркивают вместе с тем, что весь творческий путь Фаиза неразрывно связан с его широкой и многогранной общественной деятельностью. И это действительно так. Фаиз — один из организаторов и руководителей движения сторонников мира в Пакистане, первый президент общества «Пакистан — СССР», активный участник многих крупных и авторитетных международных форумов, созываемых Всемирным Советом Мира, Ассоциацией писателей стран Азии и Африки. «Ленинград. Пискаревское кладбище», «Вьетнам», «Синайская долина», «Приди, моя Африка!», «Студентам, отдавшим жизнь в борьбе за мир и свободу» — сами названия его стихов убедительно свидетельствуют о том, какой широкий круг крупных общественно-политических проблем волнует поэта.

«Вулкан его песен извергся палящим огнем», — пишет Фаиз о творчестве своего любимого Икбала. Эти слова в полной мере следует отнести и к прекрасному, глубокому лирическому, подлинно народному и столь же глубоко революционному

творчеству самого Фаиза. И вот что характерно: не зависимо от того, использует ли он традиционные для Востока поэтические формы, прежде всего газель, или прибегает к «свободному стиху», — читателя не может не поразить удивительная образность его поэтического языка. «Воспряньте, друзья, коронам грозя: рассвет занялся вдали!» — зовет он в своем «Гимне». Его высший идеал — мир и свобода для всех, и можно было бы еще многое рассказать о том, какое богатое, глубоко гуманное содержание вкладывает он в эту короткую, но такую емкую формулу, однако предоставим лучше слово самому поэту — ведь он сам так ярко и образно сказал об этом, выступая с речью в Москве, в Кремле, в тот знаменательный в его жизни день — 27 августа 1962 года, когда ему торжественно вручалась Международная Ленинская премия:

— Все люди на земле, кроме профессиональных поджигателей войны и сумасшедших, знают и понимают, что мир прекрасен. Ведь для каждого человека мир — это колосющаяся пшеница и деревья в цвету, покрывало невесты и детский смех, перо поэта и кисть художника. Свобода — это ум и совесть человека, истина и справедливость, доброта и преданность, честь и достоинство; рабство — гибель красоты человеческого духа. Именно поэтому ни один сознательный человек не может идти против великих принципов мира и свободы.

Я уверен, что разум восторжествует, несмотря на все трудности и препятствия. Человечество никогда не проигрывало борьбу за справедливость, оно победит и сейчас. Тогда, наконец, войны, ненависть и подозрительность исчезнут и мы сможем построить новую жизнь; прав был персидский поэт Хафиз:

Все, что видим мы вокруг, на тлен обречено.
Только дружбе и любви быть вечными дано.

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Вот уже на протяжении трех с лишним десятилетий Ежи Путрамент — основоположник и признанный мастер современного польского политического романа — по праву считается одним из ведущих и самых читаемых писателей своей страны. Его «творческий потенциал» удивителен: на счету писателя — более сорока книг, в том числе несколько романов, переведенных на многие языки мира, рассказы, мемуары, фельетоны, путевые записки, публицистические статьи. И сейчас, несмотря на возраст («год рождения 1910-й — подумать только, я родился

в эпоху, когда еще был жив Лев Толстой, а величайшим техническим достижением считался перелет француза Блерио через Ла-Манш!)), несмотря на пошаливающее здоровье («годы войны, знаете ли, напоминают о себе и сердцу, и сосудам...»), несмотря на загруженность большими, государственной важности делами (Путрамент — член ЦК ПОРП), он продолжает напряженно трудиться за писательским столом. Варшавское издательство «Читательник» не так давно выпустило в свет первый том его новой трилогии «Избранники» — «Бегство». Второй том («Возвращение») уже сдан в издательство, работа над третьим завершается...

— Трилогия «Избранники» задумана как широкое, многоплановое полотно, рассказывающее и о судьбах Польши и о трудных дорогах ее сынов — борцов за свободу, антифашистов, коммунистов, прошедших через ад войны. Первый том — это Вильно тридцатых годов, интернациональный по составу населения город, где волна за волной нарастает рабочее движение, где молодежь увлеченно слушает радиостанцию имени Коминтерна, где растут, формируются многие из тех, кто впоследствии станет в первые ряды борцов с фашизмом. Герои этой книги — свидетели и взлетов разгорающейся антифашистской борьбы, но они же — свидетели и горьких поражений, в основе которых лежат трусость, авантюризм и предательство продажных буржуазных «верхов». Как видите, я остаюсь верным военной, антифашистской теме, которая была поднята еще в 1952 году в моем романе «Сентябрь»...

В послевоенный период в Польше издан ряд мемуаров бывших офицеров и солдат сформированной в 1943 году в СССР польской дивизии имени Тадеуша Костюшко, сражавшейся в составе войск 1-го Белорусского фронта. Ежи Путрамент был одним из организаторов этой дивизии; со страниц воспоминаний его однополчан встает образ стройного, затянутого в хрустящие ремни поручика, политработника и стихотворца. Он участник самых горячих боев, а на бивуаках, когда выпадают столь редкие на фронте минуты отдыха, бойцы горячо аплодируют его стихам о знаменитой русской трехлинейке, об уральских танках, переданных советским командованием польским братьям по оружию... С тех пор прошло много лет, и годы сделали свое дело: в номере московского отеля нас встретил седой, неспешный в движениях, начинающий грузнеть человек. И все же в ходе беседы образ боевого поручика-«костюшковца» вновь и вновь вставал передо мной. Он — и в той увлеченности, с которой писатель говорит о своих творческих замыслах, и в его твердой, по-военному четкой речи, и в совсем молодом блеске глаз...

— Да, время подтвердило, что главная тема «Сентября» — тема борьбы против фашизма, милитаризма, реакции остается чрезвычайно важной и актуальной и в наши дни, — говорит писатель. — Время подтвердило и другое: чем большее расстояние отделяет нас от военной поры, тем ярче высвечивается подлинное величие подвига тех, кто сокрушил фашизм. О том, кто был подлинным героем минувшей войны, с предельной четкостью и полнотой сказано в «Воспоминаниях и размышлениях» маршала Г. К. Жукова — книге, которая, по моему глубокому убеждению, является одной из лучших среди тысяч изданных в мире книг о войне. В одной из заключительных глав своих воспоминаний прославленный советский полководец, подводя итог сказанному и размышляя об истоках победы, приводит такие данные: к концу войны на советско-германском фронте находилось свыше трех миллионов коммунистов — более половины всех членов партии (каждый четвертый воин был коммунистом!), а наибольший приток воинов в партию был в самые тяжелые месяцы 1941 и 1942 годов. Простые, даже, пожалуй, суховатые строки — а какие люди стоят за ними, какие судьбы! Коммунисты первыми шли в бой против фашизма в СССР, так было и у нас, в Польше, — вот о них, коммунистах, о славной армии борцов-антифашистов, и должны рассказывать литераторы, пишущие о войне...

«Славная армия борцов-антифашистов», — говорит о героях минувшей войны Путрамент, и солдатам этой армии целиком отдано сердце писателя. В его книгах выведены десятки ярких, подлинно художественных образцов коммунистов, показывающих образцы мужества и самоотверженности в битвах с врагом, но один из самых сильных — это, по общему признанию, образ Вальчака из романа «Сентябрь». События, описываемые в этой книге, относятся к осени 1939 года, когда под гусеницами немецких танков рушилось, рассыпалось в прах польское буржуазное государство. В первые дни фашистского вторжения группа польских коммунистов бежит из тюрьмы и через пылающие города и села пробивается к Варшаве. Один из них, Вальчак, оказывается в районе боев с наступающими гитлеровцами. Польская часть залегла под пулеметным огнем противника где-то под Сохачевом; в десяти километрах от столицы. Нужно поднять людей в контратаку, но кто из офицеров готов рискнуть жизнью? «Пришел момент, когда его страна, когда его народ ценой страданий и крови убеждается в том, какие у него плохие и глупые правители, — размышляет в своем укрытии Вальчак. — Теперь бы указать народу путь, пусть трудный и долгий, теперь бы его учить, какие следует извлечь уроки из опыта истории, быть вместе с народом, страдать, возможно, и

погибнуть в сердце страны, в Варшаве, вместе с рабочими Воли, Повислья, Праги, с теми, кто когда-нибудь вытащит из пропасти эту истерзанную страну...» Но нет, ему, Вальчаку, не суждено пройти те десять километров, что отделяют его от Варшавы, от верных друзей, ибо вот здесь, сейчас, не медля ни минуты, надо кому-то поднять бойцов в контратаку! Он верит, знает: туда, в Варшаву, пробьются его единомышленники, те, с кем он бежал из тюрьмы, они будут работать, будут ковать далекую, пока еще невидимую в мареве тяжких военных лет победу, а он, Вальчак, должен действовать здесь, на изрытом снарядами клочке земли, у этой насыпи, за которой ожесточенно лает вражеский пулемет. И он поднимается во весь рост: «Вперед, ребята! Варшава впереди! Ребята, раздавим два жалких пулемета — и делу конец!» И солдаты поднимаются за ним, и немцы бегут, но он уже не видит этого, скошенный пулеметной очередью. И вот он лежит лицом вниз, раскинув руки, — незнакомый солдатам человек в старой штатской одежде, польский коммунист, который на протяжении долгих лет даже не видел своей родины, ибо был отделен от нее каменными стенами тюрьмы, но который оказался первым среди тех, кто пошел в бой за свободную Польшу... Как родился этот прекрасный по своей эмоциональной, художественной силе образ?

— О, мне повезло: жизнь свела меня со многими людьми, чьи судьбы сами по себе могли бы послужить канвой для почти легендарных повествований о человеческом мужестве и верности избранным идеалам. Среди них — видный деятель КПП Альфред Лямпе, который в годы войны, находясь в эмиграции в Куйбышеве, рассказал мне о побеге группы польских коммунистов из тюрьмы в Равиче и о героической гибели под Варшавой руководителя этой группы, который и выведен в моем романе под именем Вальчака. Среди них — ныне покойный контр-адмирал польского ВМФ Юзеф Собесяк, известный в годы войны как командир советско-польского партизанского отряда по кличке Макс и послуживший прототипом для рассказа «Начало эпоса», а затем и для романа о партизанском генерале «Болдын». Среди них — многочисленные другие участники польского Сопротивления, солдаты и офицеры Советской Армии, которые буднично, без эффекта, совершенно не думая о том, как будет оценен их поступок окружающими, демонстрировали в годы войны бесчисленные образцы подлинного героизма...

С горячей любовью, с сердечной теплотой рассказывает Путь-армент о бойцах польского Сопротивления, но каким разящим оружием становится его перо, когда он говорит о фашистах и их прислужниках, когда показывает каркас насквозь прогнив-

шего государственного строя буржуазной Польши! В его произведениях выведена целая галерея представителей старых польских «верхов» — всех этих насквозь продажных министров, бездарных генералов, карьеристов-дипломатов, закованных в слепую бюрократическую броню лизоблюдов-чиновников, само существование которых — убедительное свидетельство гнилости, порочности, нежизнеспособности антинародного режима довоенной Польши. В его романах и рассказах показан и отвратительный облик фашистских прислужников, таких, как полицейский Дикий из рассказа «Начало эпоса», так формулирующий свои «взгляды на жизнь»: «Человек — существо грязное, злобное, эгоистичное. Когда сыт — можно с ним разговаривать. Но стоит ему хотя бы на минуту ощутить нехватку в чем-либо — готов на все. О, знаете, что представляет единственную ценность в этом мире? Сила. Люди ценят только силу, и только силой можно их чему-нибудь научить». Встает со страниц произведений Путрамента и образ Гитлера с его крысиными усами и пустыми, мертвыми глазами и образ ненавистного миллионам поляков Г. Франка, назначенного фюрером на пост генерал-губернатора оккупированных польских областей. Того самого Франка, который заявлял: «Там, где сейчас живет свыше 12 миллионов поляков, будет когда-нибудь жить от 4 до 5 миллионов немцев. Генерал-губернаторство должно стать таким же немецким краем, как Рейнская область». «Врага надо знать — только при этом условии с ним можно успешно бороться», — говорит писатель. И он этого врага знает!

— Иногда, особенно при поездках на Запад, приходится слышать: военная тема-де уже не волнует читателя, война — страница прошлого, мир живет ныне в совсем иных параметрах. Верно — мир изменился, но военные годы не забыты, нет! Подвигу миллионов борцов с фашизмом, ратному подвигу советского народа поистине суждено бессмертие. И вот еще о чем, на мой взгляд, не следует забывать: минувшая война явилась тяжелейшим испытанием для целых народов, в водовороте бурных событий той поры проверялись на прочность душевные качества миллионов людей, а ведь именно это — человек, его психика в условиях предельных перегрузок — всегда было и останется объектом самого тщательного изучения писателя. Действие ряда моих произведений происходит в послевоенные мирные дни, но, задумываясь над характером своих героев, над логикой их поведения в ходе тех или иных, подчас сложных, жизненных ситуаций, я всегда прибегаю к безошибочному, на мой взгляд, критерию — мысленно переношу своего героя в далекие уже годы войны и спрашиваю: а как бы он поступил тогда? Как бы он вел себя, скажем, в ту трагическую

осень 1939 года, когда разгромленные польские армии откатывались по всему фронту, когда в панике бежали из Варшавы польские правители, а флаг со свастикой поднимался над все новыми городами и селами? Как бы вел он себя в годы оккупации, когда каждый поляк должен был сделать выбор: сотрудничество или покорность, приспособление или борьба? Задать эти вопросы и ответить на них — значит с предельной точностью и полнотой высветить то главное духовное ядро, которое, собственно, и составляет суть данного человека...

— Да, река времени многое меняет в мире, но и ее волны не смывают главного — стремления человека к прочному миру, к свободе, — продолжает Путрамент. — Угроза войны, рост милитаризма — это ведь и сегодня самые важные, самые жгучие проблемы. Труп Гитлера, облитый бензином, много лет назад сгорел на задворках его берлинского логова, но ведь нацизм не уничтожен. Разве не об этом свидетельствует «деятельность» всякого рода коричневых банд в ФРГ, активизация неонацистских организаций в Соединенных Штатах? А что сказать о происках пентагоновских и натовских «ястребов», вновь и вновь пытающихся, духу времени вопреки, взвинчивать гонку вооружений, толкающих мир к новой мировой войне? Что сказать о правителях нынешнего Китая, которые именуют себя коммунистами и в то же время действуют заодно с западными милитаристами, вступают в альянс со Штраусом, с фашистами из клики Пиночета? Все эти явления современного мира свидетельствуют об одном: люди должны быть бдительны, они не вправе забывать трагические уроки прошлого. Вот почему я глубоко убежден, что правдивая, честная литература о минувшей войне — это оружие, которое и сегодня нужно нам для борьбы за мир...

Рассказ о встрече с Ежи Путраментом был бы неполным, если бы мы не сказали о том, с какой огромной любовью и гордостью говорит писатель о своей отчизне, об успехах народной Польши в строительстве новой жизни, о росте ее международного авторитета! Отнюдь не случайно, конечно, именно эта черта — беззаветная любовь к родине, преданность ей — органически присуща всем тем героям книг Путрамента, коммунистам-антифашистам, которым отдано сердце писателя. Ведь и сам Путрамент, когда он пишет о родине, находит совершенно особые, проникновенные, хватающие за сердце слова: «Эта земля — единственное прибежище и отрада. Эта земля не какая-нибудь. Лишь прикосновение к ней позволяет наслаждаться иными, более живописными краями. Она — мерило всего: блистательные пейзажи юга обретают какой-то смысл только потому, что их можно сопоставить впоследствии с этими обна-

женными кустами, серыми осколками взорванных дотов, решетчатым контуром железнодорожного моста, оловянным небом, пронызывающим ветром. Благовония, отдающий ванилью дух тропических джунглей — чего стоят сами по себе без этого обычного запаха здешней осенней земли?.. Это нулевой километр, от которого отсчитываются все расстояния, эталон, которым измеряются все ценности мира».

РЯДОМ С РАЗВЕДЧИКОМ

Среди литературных героев, которые в последнее десятилетие с успехом покоряли и продолжают покорять сейчас сердца читателей, достойное место по праву занимает Эмиль Боев, обаятельный и мужественный болгарский разведчик из романов Богомила Райнова «Большая скука», «Господин Никто», «Что может быть лучше плохой погоды?», «Тайфуны с ласковыми именами». Да и как не восхищаться этим смелым человеком, сражающимся на самых передовых линиях ни на минуту не прекращающейся в мире «невидимой войны»! Это Боев, действуя отважно и умело, ликвидирует созданное в Париже опасное эмигрантское гнездо. Это Боев, рискуя жизнью, вскрывает тайные планы вражеского центра, обосновавшегося в Амстердаме. Это Боев под именем Пьера Лорана вступает в опасную схватку с врагами народной Болгарии в Швейцарии, «живописной стране, которая не знает войн, зато отлично знает секреты международного туризма и издавна славится обилием горных цепей, часовых заводов и шпионов всевозможных национальностей». Книги Райнова, удостоенные у него на родине, в Болгарии, высшей — Димитровской премии, переведены на многие языки, они очень популярны и в нашей стране. И когда читаешь эти книги, когда с волнением следишь за приключениями их главного героя, вместе с ним переживаешь опасности, то и дело ему угрожающие, невольно возникает вопрос: кто послужил прототипом отважного разведчика?

— Строго говоря, такого прототипа не существует, — улыбается Богомил Райнов. — Но это не значит, что Боев — плод писательской фантазии. Ни один писатель не в состоянии, на мой взгляд, создать более или менее значительное произведение, не изучив предварительно материал, который должен лечь в основу будущего романа или повести. И литератор, решивший рассказать о работе разведки, не составляет исключения.

Еще лет десять назад среди моих знакомых начали все чаще появляться работники болгарской государственной безопас-

ности, а мой писательский блокнот все больше заполнялся заметками, сделанными на основе их воспоминаний и рассказов.

Впоследствии знакомство со многими из этих людей переросло в прочную дружбу, которой я искренне горжусь. Да и круг таких знакомств расширился: среди моих друзей есть, например, бывший советский разведчик, болгарин по национальности. И каждый добавляет что-то свое к образу Боева...

Мы беседуем с Богомилом Райновым в его софийской квартире. Африканские маски на стенах, экзотические статуэтки на стеллажах напоминают о том, что владелец квартиры немало попутешествовал на своем веку. Райнов, активный участник антифашистского подполья, член Болгарской коммунистической партии с 30-летним стажем, длительное время находился на ответственной работе в министерстве иностранных дел. В его дипломатическом паспорте визы многих стран. Наверное, именно с тех времен сохранилось у писателя неперенное качество дипломата — умение активно вести беседу, не просто рассказывая о чем-то, но убеждая слушателя, вовлекая его в круг своих интересов, приобщая к своим взглядам. Невысокий, загорелый, по-спортивному стройный, с густой шапкой уже седеющих темных волос, Райнов говорит энергично, уверенно — чувствуется, что мысли, которые он излагает, тщательно продуманы, взвешены.

— Дипломатическая служба позволила мне повидать мир, свела со многими людьми, знакомство с которыми при иных обстоятельствах вряд ли состоялось бы. Но как только представилась возможность, я оставил эту службу и вернулся к любимому делу — литературе. Сейчас заканчиваю книгу «Это странное ремесло...», во многом автобиографическую, посвященную раздумьям о писательском труде. Главная мысль этой книги вот в чем: писатель — единственная профессия на земле, которая предполагает глубокое, я бы сказал, научное исследование сокровенных тайников человеческой души.

Можно, конечно, возразить: дескать, человека изучают и представители других профессий, например, педагоги, психологи, следователи, наконец. Верно. Но во всех этих случаях речь идет об изучении, так сказать, со стороны, с позиций пусть и пристрастного, но все же стороннего наблюдателя. Писатель же не только не отделяет себя от своего героя, но, напротив, стремится как бы слиться с ним, чтобы ощутить, почувствовать внутреннюю логику его поведения. Часто бывает так, что литературный герой, созданный фантазией писателя, приобретает собственный характер и начинает вести жизнь, во многом независимую от его создателя. Так произошло и с Боевым: пока я лепил этот образ, наделяя его определенными чертами, склон-

ностями, он был в моих руках. А потом наступил момент, когда я неожиданно почувствовал, что Боев мне больше не подчиняется: его характер сформировался, и стало очевидным, что в таких-то обстоятельствах он должен поступить именно так, а не иначе.

Он помолчал.

— Профессия разведчика схожа с профессией пилота, летящего на сверхзвуковых самолетах: перегрузки, преждевременный износ... Известно: к людям таких профессий требования предъявляются особые. Если это учесть, должен сказать, что мне, например, отнюдь не все нравится в Боеве. Я, скажем, ценю иронию, но в меру, а у него она подчас граничит с нарочитостью, с бравадой. А женщины? Боев прямо-таки принципиальный противник жестких табу по этому вопросу, а подобную черту, да еще у разведчика, достоинством не назовешь. Но что делать: такой уж он, Боев! Можно, конечно, «не заметить» этих особенностей его характера, исключить их из повести. Но вместе с ними исчезнет и сам Боев. Останется персонаж-схема, может быть, сработанная с известным профессиональным умением, но все же схема, которая вдумчивого читателя не только не тронет, но скорее всего будет воспринята им как пустое, «вагонное чтиво»... А мне дорог живой Боев, со всеми его достоинствами и недостатками. У него, этого Боева, не все ладится: личная жизнь сложилась в общем-то неудачно, он лишен семейного уюта. Но по-своему он счастлив. Счастлив прежде всего своей работой, которая — он отчетливо понимает это — имеет важное значение для родины.

Писатель снял с полки несколько книжек в ярких обложках.

— Там, на Западе, подавляющее большинство творцов так называемой «черной литературы» ставят во главу угла оголтелый антикоммунизм. Вспомним хотя бы Яна Флеминга, миллионера, бывшего заместителя директора службы разведки при штабе британских военно-морских сил, который после войны, обосновавшись в собственном имении на Ямайке, решил взяться за сочинение шпионских романов и быстро приобрел широкую известность своими произведениями о пресловутом Джеймсе Бонде, «агенте 007». Создатель «агента 007» охвачен прямо-таки маниакальной ненавистью к коммунизму и в своих творениях, таких, как «Поцелуй из Парижа» или «Риск», договаривается до глупостей, граничащих с кретинизмом: «советские агенты» у него прячутся близ Парижа в специально вырытом убежище и передают банде английских гангстеров наркотики, дабы... «разложить капиталистическое общество изнутри»! И самое удивительное, что еще сравнительно недавно весь этот

бред расценивался западной прессой как едва ли не вершина писательского мастерства.

А вот другой пример западной шпионской эрзац-литературы — роман Жозефа Брюса «Берегитесь болгар», изданный во Франции. Герой романа, «суперагент ОСС-117» по имени Юбер, получает задание проникнуть в Болгарию под видом торговца-филателиста и восстановить там разгромленное шпионское гнездо. Задумано — сделано. Неотразимый Юбер оказывается в Софии, живет на нелегальных квартирах, то и дело пускает в ход увесистые кулаки, стреляет в милиционеров и «московских агентов», лично убеждается в том, что шпионская сеть восстановлена, и в конце концов, преследуемый по пятам, успевает пересечь всю страну от Софии до Дуная и исчезнуть за границей, унося в объятиях — в силу неизменного штампа — красавицу болгарского происхождения. И вот этот-то пасквиль, в котором принимается за аксиому, что наемные убийцы вправе свободно распоряжаться всюду, в том числе и в независимой социалистической стране, с полной серьезностью пропагандируется на Западе в качестве литературы!

Но в целом «шпионский роман» стал ныне на Западе важной составной частью той идеологической войны, которую реакционные империалистические круги ведут против мира социализма. Подобно мутному водопаду, безостановочно низвергается на читателя поток низкопробных, «шпионских» произведений, пропагандирующих ужасы, убийства, садизм, и этот массовый культ грубой силы, приправленный антикоммунистическими небылицами и сопровождаемый бешеной рекламой, несомненно, оказывает влияние на определенные слои западного общества, на молодежь. Вот почему важно противопоставить созданному на Западе образу шпиона-гангстера, шпиона-сверхчеловека образ разведчика социалистической страны, который не уступает своему противнику ни в смелости, ни в изобретательности, но в отличие от него верит в высокие идеалы родины, свободы, предан идее, во имя которой готов пожертвовать всем, даже жизнью. Вот почему подлинно художественные, правдивые произведения о разведчиках, созданные в социалистических странах — будь то первоклассный советский фильм «Мертвый сезон», отличная телевизионная повесть «Семнадцать мгновений весны», новелла или роман, — следует рассматривать как важное и действенное оружие в той «психологической войне», которую ведет против нас наш классовый противник.

Райнов продолжает говорить, а я слушаю его энергичную речь и думаю о том, как неразрывно связано творчество писателя с его биографией. Жизнь этого немолодого уже человека вместила в себя многое: и юношескую увлеченность строжайше

запрещенным в старой Болгарии «большевистским агитатором» Маяковским, и жаркие дискуссии в нелегальных марксистских кружках, и активное сотрудничество в подпольной антифашистской печати, и исполненную смертельной опасностью работу связанного в одной из партийных организаций Софии... Еще в довоенном 1938 году юный поэт Райнов писал, обращаясь к родине:

Я хочу, чтоб была ты веселой,
здоровой и доброй,
Чтобы радость была у крестьян,
и сукно, и овчины,
Чтоб не гнули рабочие на хозяев
безжалостных спины,
Чтоб фашистские псы на тебя
в подворотнях не лаяли,
Чтоб деревья цвели и чтоб зрела
богатая жатва,
Чтобы сгнули все похитители
жизни, и хлеба, и пота,
Чтобы светлую веру людей
не расстреливали из пулемета,
Чтоб кровавые струи не несли
на закате Марица...

Разве не закономерно, что именно этот юный поэт, чей труд и талант с годами вывели его в число самых популярных писателей своей страны, подает литературной молодежи пример того, как надо оружием литератора бороться за торжество нового строя? Разве не закономерно, что именно Райнов — автор не только увлекательных романов о смелом разведчике Эмиле Боеве, но и отличной публицистической книги «Черный роман», в которой он на богатейшем фактическом материале с партийной принципиальностью и страстностью разоблачает подлинные цели той ожесточенной «психологической войны», которую империалистические круги Запада, испытывающие прямо-таки патологическую ненависть к социализму, ведут против социалистических государств.

— Иной раз приходится слышать, будто книги о разведчиках, как и детективы, — это как бы литература «второго сорта», — говорит Райнов. — Нет ничего ошибочнее подобного взгляда! Не буду ссылаться на классиков, напоминая о том, что, скажем, в основе бессмертных произведений Достоевского лежит, как правило, уголовно-детективный сюжет. Скажу о другом. В своей исторической обреченности капитализм при-

бегают ко всем возможным средствам, чтобы нарушить неотвратимость логики исторического развития и отсрочить свою гибель, вызвав гибель противника. В систему этих средств капитализм включил не только все формы разведки, но и такие акты грубого насилия, как саботаж, убийства и всевозможные подрывные и террористические действия, включая организацию переворотов и подготовку локальных войн.

Социалистические страны, со своей стороны, должны принимать необходимые контрмеры, чтобы предотвращать и срыывать все действия противника в тайной войне и быть в курсе его агрессивных планов, приведение которых в действие могло бы вызвать начало третьей мировой войны. Слабая, неточная или недостаточная информированность всегда опасна. Но при теперешнем чудовищном развитии технических средств разрушения недостаточная информированность может иметь особенно тяжелые последствия. Отсюда и первостепенное значение органов разведки и контрразведки в наши дни. Отсюда — применительно к литературе — необходимость (и я хотел бы еще раз со всей решительностью это подчеркнуть!) ярко показывать тех, кто находится на переднем крае борьбы. Конечно, книга о разведчике, как и всякая книга, может быть и второго и третьего сорта — это зависит от автора. Давно и верно подмечено, что есть пятьдесят способов сказать «да» и пятьсот способов сказать «нет», но только один способ это написать. Тем важнее, чтобы на тему о разведчиках появлялось все больше настоящей, подлинно художественной литературы.

Перед тем как проститься, я вновь возвращаюсь к началу нашей беседы; среди людей, которые в какой-то мере послужили прототипом Боева, писатель упомянул советского разведчика...

— О, это удивительный человек! — оживляется Райнов. — Его зовут Борис Маноилович Афанасьев, он еще в 1922 году нелегально выехал в СССР, спасаясь от преследований болгарской жандармерии. В Москве получил высшее образование, стал преподавателем истории. В конце тридцатых годов был направлен в разведку. Работал в Вене, Париже. Повесть об этой его работе еще не написана, но, поверьте, это может быть великолепная повесть о человеческом бесстрашии, мужестве, находчивости. Сейчас Афанасьеву за семьдесят, он постоянно живет в Москве, работает в журнале «Советская литература на иностранных языках», часто бывает в Софии. Несколько лет назад миллионы болгар с увлечением смотрели тринадцатисерийный приключенческий фильм о советских и болгарских разведчиках «На каждом километре...». Прототипом главного героя этого фильма является Борис Афанасьев. О нем,

о его жизни и подвигах в августе 1975 года рассказала и газета «Работническое дело», а ранее — журнал «Антени». Афанасьев, кстати, упоминался несколько лет назад и в советском журнале «Огонек», который опубликовал воспоминания советского дипломата, находившегося в начале второй мировой войны в Париже. И когда мы встречаемся с Афанасьевым, когда он диктует свои воспоминания на этот вот магнитофон, я, слушая его, думаю о большом новом романе о Боеве...

— Значит, можно сказать, что один из тех, кто послужил прототипом Боева, живет в Москве?

— Разумеется, так же, как в Софии, в Берлине, Праге. Еще Ромен Роллан, кажется, говорил: «Самые замечательные творения революции — это люди, которых она создает». А Боев — лишь один из миллионов таких людей. Один из тех, кто, на каком бы фронте он ни оказался, готов отдать все свои силы и саму жизнь за родину, за социализм...

ДЕВЯТЬ ВОПРОСОВ ЧЕЛОВЕКУ С УЛИЦЫ ОГНЯ

Он приехал в Москву в августе 1979 года как гость XI Международного кинофестиваля, но его визит сразу вышел далеко за фестивальные рамки: с выдающимся колумбийским писателем Габриэлем Гарсиа Маркесом, автором замечательных книг «Сто лет одиночества» и «Осень патриарха», которому, как это признано ныне во всем мире, удалось сказать принципиально новое слово в развитии современного романа, хотели встретиться — и встретились — сотни людей. Его программа была насыщена до предела, и день, в который было взято это интервью, не составлял исключения: утром он был в Звездном, беседовал с космонавтами, затем вел деловые переговоры в издательстве «Прогресс», позже с блеском выступил на традиционном «круглом столе» в редакции журнала «Латинская Америка», а вечером ему горячо аплодировали посетители одного из столичных кинотеатров, которым он рассказывал о новом кубинском кинофильме «Портрет Терезы». «Его осаждают еще до завтрака», — жаловалась переводчица, а он был доволен, смеялся, шутил: «Оказывается, писатель может быть популярным почти как кинозвезда!» И на многочисленные просьбы о встрече откликался сразу: «Ну, разумеется, надо только выкроить время...»

И рано утром и поздно вечером двери его номера в отеле «Россия» были широко открыты для журналистов — загорелый, коренастый, крепко сбитый, в неизменной спортивной

покроя куртке и рубашке с открытым воротом, внешне похожий на кого угодно — на моряка, шофера, только не на человека, проводящего долгие часы и дни в одиночестве за письменным столом, — он быстрыми шагами ходил по комнате и, не ожидая вопросов, делился впечатлениями от пребывания в СССР: «Я впервые побывал в Москве более двадцати лет назад — на Всемирном фестивале молодежи. За эти годы ваша столица заметно выросла, стала еще величественнее, красивее, но одно осталось прежним: замечательное русское гостеприимство. Москву отделяют от Латинской Америки тысячи миль, но я чувствую себя здесь дома, среди друзей. Как хорошо, что вместе со мной вашу страну, мир социализма смогли посмотреть и мои сыновья!..» Потом, чуть помолчав: «Я вправе гордиться, что в Советском Союзе — стране великих литературных традиций — мои книги пользуются такой популярностью. Мне сообщили, что романы «Сто лет одиночества» и «Осень патриарха», изданные многотысячными тиражами, разошлись чуть ли не за два дня. Вот подлинный контакт между писателем и читателем — контакт, о котором литераторы Запада зачастую могут только мечтать...»

Я прошу его рассказать, как родился замысел «Осени патриарха».

— Ну, об этом можно говорить много, а можно сказать и коротко: это роман, который я не мог не написать. Проблемы, поднятые в нем, — это наша жизнь, наша борьба. Помню, в 1955 году я — в ту пору корреспондент колумбийского журнала «Эль эспектадо» — жил в Париже, в квартале, где обычно селятся латиноамериканцы, а моим соседом был Николас Гильен, замечательный кубинский поэт. Каждое утро он распахивал окно и выкрикивал на всю улицу последние известия. Однажды Гильен закричал: «Он свергнут!» Тотчас же захлопали десятки окон. Аргентинцы решили, что свергнут Перон, перуанцы то же самое подумали об Одриа, кубинцы — о Батисте, венесуэльцы — о Пересе Хименесе, а мы, колумбийцы, — о Роха Пинилье... Маленький эпизод, но он показывает, что означает для нас, латиноамериканцев, борьба против тирании. Я вынашивал эту тему еще в юности — и нужен был лишь толчок, чтобы я взялся за перо...

— И что же послужило таким толчком?

— Разумеется, кубинская революция, которая, бесспорно, является для нашего континента важнейшим событием за весь период, истекший после обретения Латинской Америкой независимости. Я приехал в Гавану через две недели после революции и был там в период, когда революционная власть проводила судебный процесс над генералом Бланко, одним из прибли-

женных Батисты. Это был публичный процесс, трибунал заседал во Дворце спорта, и надо было видеть, с каким ликованием встречали народные толпы выступления членов трибунала, разоблачавших злодеяния свергнутой клики, каким гневом и ненавистью горели глаза людей, обращенные к палачу, сидевшему на скамье подсудимых! Процесс начался в пять часов вечера, а завершился на рассвете, в семь утра, и тысячи людей бурно приветствовали решение трибунала, приговорившего Бланко к смерти, а у самого подсудимого, только что услышавшего приговор, начало дергаться колено... Вот тогда, именно тогда я понял: роман о чудовище, которого рождает абсолютная, бесконтрольная власть, должен быть написан!..

— И взялись за перо?

— Ну, не сразу, не сразу: замысел был серьезным и требовал серьезной, фундаментальной подготовки. Латиноамериканским диктаторам посвящено немало томов — я начал читать эти книги, художественные и документальные, репортажи журналистов и свидетельства очевидцев, все подряд. Конспектировал то, что казалось наиболее важным, вел обширную картотеку. Это был долгий, тяжелый труд. Когда же конверты с заметками и выписками перестали вмещаться в ящики архива, я запер эти ящики на ключ и... попытался забыть все, о чем читал. Я понимал: тиран, уже родившийся или еще только рождавшийся в моем воображении, должен, конечно, быть чем-то похожим на своих прототипов, но в то же время он не может походить ни на кого из них, ибо задача писателя — разорвав рамки пространства, раздвинув стальные обручи самого времени, создать такой образ, который как бы спрессовывает, синтезирует нечто главное... В последнее время, после краха тирании в Никарагуа, меня иногда спрашивают: скажите, а не послужила ли история диктаторской династии Сомосы одним из тех «кирпичиков», которые легли в фундамент вашего романа? Я отвечаю: Сомоса — злобный, опасный, но сравнительно мелкий политический хищник, считать его чем-то вроде «предмета исследования» не могу: много чести. Империализм вскармливал в Латинской Америке деспотов и покрупнее — например, Хуана Висенте Гомеса, палача народа Венесуэлы. Но ни Гомес, ни другие не являются прообразом «патриарха». Никто из них в отдельности, но все они вместе, и их покровители, их предшественники, их гнусное окружение, всякого рода жаждущие власти политические авантюристы, которым еще не удалось взобраться на трон, но которые, являясь как бы полуфабрикатами диктаторов, все же представляют несомненный интерес...

— После выхода в свет «Ста лет одиночества» и особенно «Осени патриарха» литературная критика много спорит о том,

кто из мастеров мировой литературы оказал на вас наибольшее влияние...

— Сразу скажу, что, на мой взгляд, вопрос о литературном влиянии, которое одни писатели якобы оказывают на других, — это весьма и весьма спорный вопрос: я лично убежден, что каждого настоящего писателя формирует не столько литература, сколько жизнь! А уж если признавать наличие такого рода влияния, следует подчеркнуть, что оно не есть нечто постоянное, прямолинейное, оно часто действует опосредованно и корректируется опять-таки жизнью. Помню, какое огромное впечатление произвели на меня в студенческие годы рассказы Кафки. Я читал эти наполненные бушующей фантазией рассказы и думал: если может быть на свете такая литература, значит, литературное ремесло стоит того, чтобы отдать ему годы и силы! Прошло время, случилось так, что я вернулся из столицы в родные места. Я смотрел вокруг — на пальмовые рощи, на молчаливые, равнодушные ко всему холмы, на деревни, где все, начиная от хижин крестьян и до самих крестьян с их мускулами, мозгом, с их привычкой к тяжелой, изнурительной работе, принадлежало не им, исконным обитателям этой древней земли, а могущественной «Юнайтед фрут компани», — я смотрел на все это, вспоминал так поразившие меня рассказы Кафки, и простой, казалось бы, вопрос не давал мне покоя: что общего между этими рассказами и жизнью, которая окружает меня? И то, что еще вчера поражало воображение, сегодня не то чтобы перечеркивалось, а как бы начинало тускнеть; я восхищался уже не Кафкой, а Уильямом Фолкнером — писателем, который сказал, что он хотел бы собрать всю историю человеческого сердца на кончике своего пера (мне, кстати, часто говорят, что созданный воображением Фолкнера округ Йокнапатофа, штат Миссисипи, внешне похож на мое Макондо из «Ста лет одиночества», и это, наверное, действительно так, ибо Фолкнер писал о своих родных местах, а его родина — американский юг — во многом напоминает родное мне колумбийское побережье; я запоем читал и романы Хемингуэя, восхищаясь его удивительным умением так воссоздавать атмосферу происходящего, что читатель невольно чувствует себя как бы участником событий. Позже увлекся Достоевским, чьи романы, несомненно, одна из вершин мировой литературы. Вот четыре писателя (из которых, кстати, ни один не писал по-испански), особенно мною ценимые; но я был бы весьма огорчен, если бы мне сказали, что мои произведения чем-то похожи на их книги. Убежден, что настоящий писатель — лишь тот, кто идет в литературе своей, отличной от других дорогой...

— Исследователи вашего творчества подробно описывают

ваши методы работы. Широко известно, что в последние годы вы живете в Мехико, на улице дель Фуэго, что значит улица Огня, что вы переоборудовали под кабинет одноэтажный каменный сарай, находящийся по соседству с вашей квартирой, что вы работаете ежедневно с девяти утра и до двух часов дня, любите работать под музыку и, начиная писать, включаете магнитофон. Все это любопытные детали, но они никак не приоткрывают «секреты» вашей творческой кухни. Как удалось вам, например, добиться того, что иные литературные критики рассматривают как своего рода революцию в современном испанском литературном языке?

— Тут нет никакого секрета, да и насчет «языковой революции» — это, право же, громко сказано. Прочтите внимательно мои последние романы — если и есть в мире нечто такое, что наложило печать на стиль, язык этих книг, то это, конечно же, безгранично богатый, прекрасный, неповторимый латиноамериканский фольклор. Мне всегда казалось — и я убежден в этом сейчас, — что сам воздух над Карибами буквально пронизан поэзией народных песен и старинных преданий, как он пронизан солнцем, и завидное право писателя — черпать и черпать из этого неиссякаемого источника. Это очень хорошо понимал, например, Рубен Дарио, великий реформатор стиха, подлинно народный никарагуанский поэт... Ну, а кроме того, я хотел бы повторить то, о чем уже говорил журналистам: после книги «Недобрый час» я не писал целых пять лет — чего-то не хватало, а вот чего именно, я не знал. Потом понял: не хватает верного тона! А тон этот — тот, что потом был использован в романе «Сто лет одиночества», — оказался тем самым, каким рассказывала мне народные предания и всякие истории моя бабушка. О вещах фантастических, абсурдных она говорила как о чем-то совершенно естественном. Поняв наконец, какого тона следует придерживаться, я сел за письменный стол и проработал восемнадцать месяцев без перерыва...

— Советскому читателю известна ваша шутливая «визитная карточка», которую вы предпослали в виде предисловия одной из своих первых книг: «Сеньор, меня зовут Габриэль Гарсиа Маркес. Сожалею, но мне тоже не нравится этот набор расхожих имен, который я с трудом отношу к себе. Я родился в Аракатаке, в Колумбии, почти сорок лет назад, и все еще не раскаиваюсь в этом. Родился под знаком Рыб; имя моей жены — Мерседес. Это два наиболее важных факта моей жизни, ибо благодаря им — по крайней мере до сего времени — я сумел прожить, сочиняя книги...» В этих строчках отчетливо виден почерк Маркеса, однако похоже, что в роже веселых или иронических стрел, пущенных вами в собственный адрес, зате-

рялись многие важные факты вашей биографии. Из печати известно, например, что ваш отец был телеграфистом, что в вашей семье насчитывалось шестнадцать детей и учиться вам пришлось в «колледже для бедных» в захолустном городке Сипакира. Так ли уж легок и прост был ваш путь к писательскому мастерству?..

— «Визитная карточка», о которой вы упомянули, — это всего лишь улыбка автора, а ведь улыбка украшает и жизнь и книгу! Если же говорить всерьез... Путь писателя — это вообще, как правило, тернистый путь, а тем более на Западе. В 1967 году, когда я закончил роман «Сто лет одиночества», над которым работал почти два года, оказалось, что в доме нет 83 песо, — а именно такая сумма требовалась для того, чтобы переслать по почте рукопись издателю в Аргентину. Пришлось посылать ее по частям: сначала — половину, а затем (после продажи каких-то вещей) — окончание. Впрочем, это меня не слишком беспокоило: за плечами были времена и похуже, в том числе и период безработицы, наступивший после того, как журнал «Эль эспектадо», в котором я работал, был закрыт... Но ведь все, с чем мы сталкиваемся, оседает в копилке нашего жизненного опыта, не так ли? А для писателя содержание этой копилки особенно важно...

— Выступая в редакции журнала «Латинская Америка», вы упомянули, что в США хотели бы экранизировать «Сто лет одиночества»...

— Да, один из видных американских продюсеров сделал мне такое предложение. По его подсчетам, доходы от фильма составили бы три миллиона долларов. Я ответил: предпочитаю, чтобы каждый читатель видел моих героев по-своему. Любой фильм, даже хороший, означал бы, что персонажи романа в известной мере стандартизованы и люди невольно представляют их такими, какими они предстали на экране... Но не поймите меня так, что я вообще отрицательно отношусь к искусству кино. Напротив! Я горячий сторонник кинематографа, сам не раз пробовал свои силы в работе над киносценариями, последний из них «Год чумы», созданный по мотивам дневника Даниэля Дефо, закончен совсем недавно. Для писателя экран — великое, ничем не заменимое средство общения. Это, кстати, в полной мере демонстрирует и нынешний московский фестиваль, проходящий под благородным девизом «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами».

— Судя по рукописям на вашем столе, вы несмотря на плотную программу, и здесь, в Москве, продолжаете работать?

— Это — начало журналистского репортажа о Вьетнаме... Что же касается «главной» рукописи — рукописи большой кни-

ги, то она ждет меня в Мехико. Тема? Латиноамериканец, точнее, латиноамериканка в Европе. Разумеется, речь идет не об описании некоего развлекательного вояжа — речь идет о том, чтобы показать столкновение и переплетение двух разных человеческих культур, двух психологий, которые так часто и взаимоисключают и взаимодополняют друг друга. Над этой темой я работал и раньше, но чувство было такое, что книга не получается — однажды, в минуту усталости и раздражения, я даже уничтожил часть рукописей, а другую засунул, что называется, в дальний ящик и вернулся к ней только теперь, годы спустя. Книга будет состоять из 25—30 рассказов, связанных единой сюжетной линией...

— Будете ли вы публиковать эту книгу? Печать сообщала, что вы отказались от создания больших прозаических книг в знак протеста против преступлений фашистской хунты в Чили...

— Да, действительно, около трех лет назад я принял решение не публиковать крупных литературных произведений до тех пор, пока чилийская хунта остается у власти. Цель этой акции состояла, во-первых, в том, чтобы оказать влияние на моих читателей в Латинской Америке, побудить их к еще более активной солидарности с чилийским народом, а во-вторых, в том, чтобы высвободить время для политического репортажа, который я рассматриваю как особенно острое оружие в борьбе против реакции и фашизма. Политическая журналистика занимает сегодня большое место в моей жизни, вслед за репортажами о Вьетнаме выйдут в свет публицистическая книга о Кубе, репортажи о победе народа Никарагуа...

Вы вправе спросить: но если книга не будет опубликована — стоит ли именно сейчас тратить на нее силы и время? Стоит! Ведь сумерки не бывают вечными, как бы долго ни длилась ночь. И это подтвердила не только Куба. Несколько месяцев назад, незадолго до моей поездки в Японию и Вьетнам, мне довелось обмениваться в кругу друзей мнениями о положении в Никарагуа. «О, что касается Сомосы, эта хищная, цепкая и до зубов вооруженная североамериканцами династия, которая вот уже сорок шесть лет обирает никарагуанский народ, еще долго продержится на троне», — уверял один из них, человек, как будто сведущий в политике. А через короткое время, будучи в Токио, я услышал по радио: Сомоса свергнут, бежал и ищет пристанища в США. Что я этим хочу сказать? Только одно: мы живем в хорошую пору, когда на создание книги требуется порой больше времени, чем на свержение иного реакционного, продажного, ненавидимого собственным народом «патриарха». И хоть я не сторонник самостоятельных поли-

тических пророчеств, глубоко верю, что к тому времени, когда я буду дописывать в своей книге последнюю страницу, палач и преступник по имени Пиночет уже будет, если, конечно, ему вообще удастся уцелеть, искать прибежища где-нибудь по соседству с Сомосой. И можете не сомневаться: как только это произойдет, я оставлю все дела и сделаю все, чтобы в качестве журналиста получить место в первом самолете, вылетающем в Чили... Конечно, это день завтрашний, но он не за горами, и к нему должно быть все готово уже сейчас. В том числе и новый роман.

ПОД КРЫШЕЙ, НА КОТОРОЙ ЖИВЕТ КАРЛСОН

Помните, как начинается повесть знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрэн о Малыше и Карлсоне, который живет на крыше? «В городе Стокгольме на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном доме живет обыкновенная шведская семья...» Улица, описанная в повести, — это улица Далагатан. А вот и дом № 46, где родился толстенький самоуверенный человечек по имени Карлсон. Создательница этого летающего человечка, приветливо улыбаясь, открывает дверь:

— Заходите, рада гостям из Москвы...

Наше знакомство с Астрид Линдгрэн произошло неожиданно. Дирекция Шведского института, государственного учреждения, призванного содействовать пропаганде шведской культуры, устроила завтрак для группы советских журналистов. Приглашенные — литераторы, художники — встретились в «Виктории», одном из тех небольших, оформленных «под старину» ресторанчиков, которыми усыпан центр Стокгольма. На столах горели свечи (их в Швеции почему-то зажигают уже с утра), в подковообразном зеве камина уютно потрескивали угольки. Беседа, как всегда в таких случаях, перебрасывалась с темы на тему: предстоящие парламентские выборы и сообщения газет об археологических находках времен викингов на острове Готланд, выставка молодых художников в Стокгольмском музее современного искусства, на которой демонстрируется нашумевшее полотно «Новое платье короля», и последний фильм Ингмара Бергмана. Когда в беседе наступил антракт, сидевшая рядом немолодая дама в бежевом, спортивного покроя платье и такого же цвета кепи, задорно, даже несколько лихо сдвинутым набекрень, обратилась к моему коллеге, корреспонденту ТАСС в Стокгольме Дмитрию Горохову, отличному знатоку шведского языка:

— Не поможете ли с переводом, Дмитрий? На днях получила целую пачку писем из России, по почерку вижу — пишут ребяташки, на конвертах — штемпели не только Москвы и Ленинграда, но и далеких, незнакомых мне городов...

— Наша Астрид по совместительству выполняет обязанности целой почтовой конторы, — улыбнулся директор института Еран Лефдаль. — Ведь почту ей зачастую приносят не в обычных сумках — в мешках. Всем хочется знать, когда появятся на свет новые приключения Карлсона...

И вот мы с Д. Гороховым сидим в квартире писательницы, выходящей окнами на большой заснеженный парк, и она по моей просьбе рассказывает о себе. Творческая биография Линдгрэн не совсем обычна: первое ее произведение появилось на прилавках книжных магазинов, когда ей было за тридцать. Она выросла в сельской местности — отец арендовал у тамошнего священника небольшой участок земли. Десятилетней девочкой Астрид уже хорошо знала, что такое нелегкий крестьянский труд: ей, как и ее сверстникам и сверстницам, нередко приходилось работать и в поле и на огороде, помогая отцу. Но, разумеется, оставалось время и для игр и для увлекательных, полных приключений походов по живописным окрестностям Сванемюнде. Хвойные леса, сбегające с невысоких холмов, залитые солнцем земляничные поляны, крутолобые, покрытые сизым мхом валуны у берегов холодных озер, потрескавшиеся каменные плиты с сохранившимися на них древними руническими надписями — такой был мир, окружавший Линдгрэн и навсегда полюбившийся ей. Астрид с детства находилась под обаянием народных саг и старинных поверий; впоследствии, став взрослой и перебравшись в город, она стала сама придумывать разные занимательные истории, в которых жизнь нередко переплетается с вымыслом, реальные факты — с фантастикой, и часто рассказывала их собственным детям. Особой популярностью пользовались дома приключения девочки, которую дочь Астрид, семилетняя Карин, предложила назвать «Пеппи Длинныйчулок». Но вот случилось так, что Астрид, гуляя зимой в парке, поскользнулась, сломала ногу. Заботы о детях, хлопоты по хозяйству — все отошло в сторону, у Астрид впервые в жизни оказалась масса свободного времени. И она задумалась: а что, если изложить одну из сочиненных ею историй на бумаге да и послать в какое-нибудь издательство?..

— Разумеется, рукопись с совершенно неизвестной фамилией автора на титульном листе вернулась обратно с максимальной быстротой, на которую только способна шведская почта, — вспоминает Линдгрэн. — Но я проявила упорство и решила обратиться еще в одно издательство, дав, впрочем, торжест-

венную клятву, что эта попытка последняя. И тут произошло чудо: моя рукопись была не только принята, но признана лучшей на проводившемся в ту пору конкурсе детских произведений! Я не верила глазам, разглядывая книжку в нарядной обложке, на которой черным по белому значилось: Астрид Линдгрэн, «Бритт-Мари облегчает сердце». А из издательства «Рабен ок шегрен», которое дало моему первому произведению путевку в жизнь, уже раздавались телефонные звонки: пишете ли что-нибудь еще, когда закончите?.. Годы спустя это издательство, желая отметить юбилей нашего давнего и плодотворного сотрудничества, преподнесло мне прекрасный этюд Шагала — вот он, перед вами, и нет нужды говорить, что этот подарок для меня особенно ценен, и, конечно, отнюдь не в материальном смысле...

— Над чем вы сейчас работаете, Астрид?

— Ох уж этот традиционный журналистский вопрос, на который часто так нелегко ответить! Разумеется, я думаю о новой повести, но это, пожалуй, и все, что я хотела бы сказать; хотя каждая будущая мать непременно видит своего еще не родившегося ребенка таким удалцом и красавцем, никто не любит говорить об этом вслух... Да и как угадать, что выйдет из-под пера? Знаю, есть немало писателей, которые, подобно шахматистам, заранее и тщательно рассчитывают предстоящую «литературную партию» на много ходов вперед. Это, наверное, хороший метод, но для меня он недостижим. Если уподобить литератора, приступающего к работе над новым произведением, путнику, отправляющемуся по неизведанной дороге, можно сказать, что я, начиная этот путь, вижу лишь небольшую его часть: один-два поворота, пригорок, лесок, кусочек серебряного озера, а дальше дорога исчезает за холмами, и мне совершенно неведомо, куда она меня заведет... «Пока не закатится солнце, кто знает, как кончится день?»

Она сняла с полки фотографию, на которой была запечатлена группа мальчиков и девочек.

— Я и сейчас часто рассказываю сказки и всякие забавные истории, но уже не дочери, а внукам и внучкам, — как видите, у меня их семеро. А потом персонажи этих историй начинают то и дело появляться передо мной, шутят, проказничают, радуются, сердятся — только успевай стенографировать! Я не пишу, а именно стенографирую: знание стенографии сохранилось с молодости, когда я работала в небольшой провинциальной газетке «Виммербю-тиднинг», пробавлявшейся рекламой товаров местных бакалейных лавок и отчетами о свадьбах и похоронах. Так идет дело час, два, иногда — три. И вдруг, в один далеко не прекрасный миг, мои герои перестают двигаться, буд-

то это не живые мальчишки и девчонки, а экспонаты музея восковых фигур. Я удивлена, огорчена, постепенно меня охватывает раздражение. «Да делайте же что-нибудь, черт побери!» — кричу я, поступаая, наверное, не очень педагогично. Иной раз упрямцы не желают слушаться, и тогда работа прекращается. Но чаще окрик действует. Проходит некоторое время — и вот (будто кто-то невидимый нажал некую таинственную кнопку!) сцена, стоящая перед моими глазами, вновь оживает: хвастунишка Карлсон взлетает над островерхими крышами, Малыш подметает в домике Карлсона ореховую скорлупу, а озорник Эмиль из Линнеберги сует голову в супницу, учит поросенка прыгать через бычью вожжу и стреляет из рогатки в миску с ревеневым киселем...

Она улыбнулась.

— Рассказывать об этом легко, но в действительности, поверьте, рождение каждой книги — трудный, сложный процесс. Дети — самые благодарные читатели, но и самые требовательные: они не терпят дидактики, разговаривать с ними надо не отвлеченными понятиями, а образами, они мгновенно улавливают малейшую фальшь и выражают свое отношение к скучной книге столь же решительно, сколь и элементарно: книга летит в угол, а юный читатель избирает занятие повеселее — ну, скажем, берется за рогатку. «Коль фальшивишь — не пой» — эту старую поговорку следовало бы возвести для детских писателей в ранг закона. Нужно, чтобы дети узнавали в книгах самих себя, чтобы книга была для них как бы продолжением жизни, а не слащавой иллюстрацией наподобие тех, что украшают цветные обложки к рождественским альманахам. Этого я и добиваюсь. У меня бывали случаи, когда иные не в меру педантичные мамы упрекали меня: вы, Астрид, дурно влияете на детей, описываете каких-то неумных озорников, сорванцов, чуть ли не анархистов! Я отвечаю в таких случаях: все нормальные дети — в той или иной мере озорники, а вы обратили бы внимание на другое: у моих озорников доброе сердце и упорный характер, они прямодушны, честны, они верные и надежные друзья, которые в трудную минуту не растеряются, не повесят голову. И, поверьте, именно из таких вот сорванцов и вырастают со временем настоящие люди...

Она сняла с полки западногерманский литературный журнал.

— Здесь статья о моем творчестве. Некая весьма серьезная дама, литературовед, живущая, кажется, в Мюнхене, странно и достаточно скучно объясняет, как следует понимать «Пеппи Длинныйчулок», повесть о Карлсоне. Оказывается, в этих произведениях ставится цель дать всесторонний анализ детской психики на основе ее глубокого изучения и на фоне

проблем, связанных с явлениями акселерации, то есть ускоренным развитием и формированием подрастающего поколения. И выпукло обрисована мысль о том, что процесс воспитания не должен сковывать свободное проявление эмоций ребенка. И имеются элементы, связанные с философией эмпиризма, ибо дети признают опыт единственным средством достоверного познания, умаляя тем самым значение логического анализа и теоретических обобщений. Кто бы мог подумать, что сказка о Карлсоне столь глубокомысленна! Я не удержалась — написала автору статьи письмо, в котором уверяла ее, что, работая над своими книгами, ничего подобного не имела в виду; что же касается эмпиризма, равно как и многих других, несомненно, весьма глубокомысленных и мудрых философских систем, то я, право же, имею о них довольно отдаленное представление. Ответ последовал незамедлительно и, к чести автора статьи, был весьма искренним: «Извините, если я несколько усложнила тему, но ведь мне поручили подготовить исследование о вашем творчестве, а какое же может быть исследование без попытки анализа...» А в конце вопрос: а как бы вы сами определили основное направление своих книг? Отвечаю: да очень просто, милая. Я рассказываю о детях, какими их вижу, я часто рассказываю о себе самой и своих сверстниках, какими мы были в школьные годы. И очень рада, если озорные, веселые дети из моих книг похожи на настоящих, живых детей. И еще больше рада, когда узнаю, что, читая мои сказки, дети смеются, и грустят, и стараются перенять у моих героев те качества, которые так свойственны всем детям: искренность, смелость...

Библиотека Линдгрена составляет несколько тысяч томов. Какие же книги из этого собрания больше других любимы писательницей?

— Еще много лет назад было сказано, что с книгами у нас обстоит дело так же, как с людьми: хотя мы со многими знакомимся, но лишь некоторых избираем себе в друзья, в сердечные спутники жизни. Это верно. Я могла бы назвать десятки произведений, которые ценю, даже высоко ценю, но самых любимых только три. Это трилогия Максима Горького: «Детство», «В людях», «Мои университеты», это «Голод» Гамсуна и это, наконец, «Фауст» Гете. Иные мои коллеги недоумевают: что за пестрота вкусов! А между тем, по моему глубокому убеждению, книги, о которых идет речь, имеют между собой много общего. Это общее — не только в их высочайших литературных достоинствах, но и в их глубоком гуманизме, в том, что все три писателя, столь разнящиеся между собой, преисполнены любви и сострадания к людям. Понимаю, конечно, что речь идет о вершинах мировой литературы, достичь которых можно только

в мечтах. Но ведь каждый писатель — если он действительно писатель — должен вкладывать в свои произведения частичку собственного сердца, должен стремиться передать тем, для кого он пишет, то, что дорого ему самому. Одна молодая женщина, у которой было трудное, даже, можно сказать, трагическое детство, пишет мне: «Спасибо, Астрид, за ваши книги — они такие веселые, оптимистические, они придали мне сил и бодрости в те тяжелые дни...» Такие письма для меня — высшая награда.

Писательская слава приносит немало хлопот — по мере того, как произведения Линдгрэн становятся все более популярными в разных странах, ей все чаще приходится покидать родной Стокгольм: то нужно принять участие в зарубежной постановке фильма или пьесы о Пеппи или Карлсоне, то выступить на международном литературном симпозиуме, то принять участие в жюри международного конкурса на лучшую детскую книгу. Дважды побывала писательница и в Москве.

— Я, разумеется, знала о бурном расцвете культуры СССР, о том, что Советский Союз — самая «читающая страна» мира, но одно дело — знать об этом, так сказать, теоретически, и совсем другое — увидеть «читающую страну» своими глазами. Первоклассные библиотеки, переполненные зрительными театры и кино, люди с книгами и журналами в метро, автобусах, трамваях — для вас все это, наверное, давно стало привычным, а меня восхищало до глубины души! Счастлива сознанием того, что многие мои книги изданы в СССР. Пользуясь случаем, хотела бы передать сердечный привет своим юным советским читателям и читательницам, пожелать им удивительных открытий, веселых приключений, хороших и верных друзей — словом, всего того светлого, неповторимого, чем так щедро одаривает своих обитателей солнечная страна под названием «детство»...

Астрид Анне Эмили Линдгрэн за семьдесят. На творческом счету писательницы 34 книги, изданные огромными тиражами в разных странах на 45 языках (напомним: только в СССР произведения писательницы издавались за период с 1957 по 1979 год более 60 раз, а их общий тираж составляет 3 659 000 экземпляров!); Астрид удостоена десятков высоких национальных и международных наград, в том числе дважды — самой высокой награды, которую присуждают за книжки для детей: премии имени великого сказочника Х. К. Андерсена. Шведская печать активно выступает за ее избрание в число 18 членов шведской королевской академии. Казалось бы, можно подводить итоги? Но нет: впечатление от беседы с писательницей такое, будто она только начинает путь. Слушая ее эмоциональ-

ную, образную, полную иронии и юмора речь, я невольно вспоминал тот отзыв, который дал мне о Линдгрэн известный шведский журналист и общественный деятель Свен Герентц, давно и хорошо знающий писательницу:

— Поверьте: это удивительный человек, удивительный своей энергией, жизнелюбием! За рубежом хорошо известны детские повести Линдгрэн. Но мало кто знает, что она и автор нашумевшей сказки для взрослых. В этой сказке, написанной около трех лет назад, шла речь о волшебной стране Монисмании, в которой жила-была некая Помперипосса, то и дело во всеуслышание восторгавшаяся мудростью своих правителей. Но вот эти правители ввели в стране такие налоги, что Помперипоссе и ее согражданам стало совсем невмоготу. И тогда прозрела Помперипосса: увидела она, что у власти в Монисмании стоят, мягко говоря, вовсе не мудрецы... Разумеется, аллегория была достаточно прозрачной, кто не знает, что именно Швеция — страна самых высоких налогов в мире! Поднялся шум, находившаяся в оппозиции газета народной партии «Экспрессен» издала сказку массовым тиражом в виде листовки, на которой сама Линдгрэн была изображена с кочергой в руке, грозящая правительству. Печать отмечала, что все это в известной мере отразилось на итогах проходивших в ту пору в стране парламентских выборов, в результате которых произошел смена кабинета. Вот вам и «старушка-сказочница»!

...Почта разобрана; вечерние сумерки окрашивают деревья парка в серо-черные тона; на первом этаже дома, где живет Астрид, вспыхивает яркая неоновая вывеска «Кафе Васахоф». Громко, требовательно звонит телефон. «Это мой любимец, внук, десятилетний Улле,— говорит Астрид, взглянув на часы.— Сегодня вечером я обещала прийти к нему, чтобы рассказать новую сказку...»

Может быть, как раз сегодня маленький Улле станет первым из миллионов своих сверстников, кто услышит о новых приключениях толстячка Карлсона? Того сказочного Карлсона, который живет на крыше самого обыкновенного дома в Стокгольме, умеет летать и так полюбился детворе разных стран.

В ЛОЗАННЕ, У СИМЕНОНА...

Если и есть на свете человек, являющий собой полную внешнюю противоположность знаменитому комиссару Мегрэ, то это, несомненно, его создатель Жорж Сименон. Комиссар, как известно, человек массивный, грузный, медлительный в движе-

ниях, он любит посидеть за кружкой пива, не спеша поразмыслить об обстоятельствах очередного запутанного преступления. Писатель, давший жизнь Мегрэ, напротив, художав, подтянут и, несмотря на свои 72 года, чрезвычайно подвижен, пива не любит, а угощает нас легким сухим шампанским из винограда, выращенного на гористых берегах Роны.

— Почему-то бытует мнение, что Мегрэ — образ во многом автобиографический. Это — недоразумение, уверяю вас. Работая над первым произведением, в котором выведен Мегрэ — а это была книга «Питер-литовец», вышедшая в свет еще в 1929 году, — я отнюдь не обращался к собственной биографии, тем более что она начинается с такой далекой от сыскной полиции сферы, как должность продавца в книжном магазине, а использовал впечатления, полученные позднее в полицейском управлении Парижа, куда я был вхож как газетный репортер и начинающий литератор, подписывающийся псевдонимом «Сим». Но по мере того, как одна книга о Мегрэ сменяла другую, образ главного героя развивался уже сам по себе. Помните, в повести «Смерть Сесили» приезжий американец расспрашивает Мегрэ о его «методе»? «Я их чувствую...» — говорит комиссар о тех, с кем он встречается на пути к выявлению истины. Так же я могу сказать о самом Мегрэ: я его чувствую. А когда для писателя его герой перестает быть просто плодом воображения, а становится живым человеком, этому герою уже нельзя навязывать несвойственные ему черты, привычки, склонности. Он живет сам по себе, его поступки определяются внутренней логикой его характера. То же касается и супруги комиссара. Меня иногда спрашивают: кто послужил прототипом мадам Мегрэ? Никто. Просто рядом с комиссаром должна быть именно такая женщина, как она, вот и все...

Я спрашиваю Сименона, произведения каких авторов могут, на его взгляд, считаться классикой детективной литературы? Что он думает о Конан Дойле? Об Агате Кристи?

— Дедуктивный метод — это талантливо. Я познакомился с похождениями Шерлока Холмса, когда мне было лет двенадцать, и кое-что помню до сих пор. Впрочем, должен сказать, что еще задолго до рождения Шерлока Холмса, в 1845 году, в Америке вышла книга, которая, на мой взгляд, впоследствии во многом сформировала Конан Дойля как писателя. Я имею в виду сборник рассказов Эдгара По, в который вошел, в частности, такой литературный шедевр, как рассказ «Убийство на улице Морг». О ком вы спросили еще? Кристи? Таковую не читал...

Мы беседуем с Жоржем Сименоном в его доме на окраине Лозанны. Этот старинный одноэтажный дом, построенный в се-

редине XVIII века, на склоне крутого холма, состоит, не считая подсобных помещений, из одной очень большой, очень светлой комнаты с розовыми стенами, которая служит писателю и кабинетом и спальней. Много свободного пространства, много воздуха. Белая мебель создает впечатление больничной, почти стерильной чистоты, в шкафу — коробочки с магнитофонными пленками. Но где же рабочий стол писателя?

— Ручку и бумагу мне успешно заменяет диктофон, — улыбается Сименон.

Лозанна, чьи живописные старинные кварталы ярусами сбегают с крутых холмов к синему Женевскому озеру, и близлежащие к ней городки издавна избираются местом жительства многими видными деятелями литературы, искусства. Здесь, в небольшом городке Морж, на протяжении ряда лет жил знаменитый композитор Игорь Стравинский, чьи сочинения вошли в репертуар симфонических оркестров всего мира, в соседнем Веве находилась вилла прославленного мастера мировой кинематографии Чарльза Спенсера Чаплина, неподалеку живет и знаменитая актриса Элизабет Тейлор. Это, конечно, не случайно. Озеро в кольце молчаливых заснеженных гор, виноградники, возделанные прямо на скалистых обрывистых кручах, тишина, чистый воздух, от которого щекочет в горле, — не так-то просто найти в сегодняшней, задыхающейся от бензиновых испарений и заводских дымов Западной Европе другой подобный уголок! И вот еще что, наверное, привлекает многих: в какую сторону ни поедешь от Лозанны по зеркальным швейцарским автотрассам, — всюду открываются увлекательные страницы истории. То встретится горная деревушка, где, по преданию, бывал легендарный Вильгельм Телль, то дом с мемориальной доской: «Здесь жил и творил Вольтер», то шоссе приведет к крутому альпийскому перевалу, где в 1799 году славные суворовские егеря стремительной атакой взяли считавшийся неприступным Чертов Мост. Неподалеку от Лозанны, на восточном берегу Женевского озера, высятся на фоне заснеженного зубчатого массива Дан-дю-Миди угрюмые, серые стены и сторожевая башня Шильонского замка. В этом замке в начале XVI века принц Карл III Савойский заточил в темницу Франсуа Бонивара, одного из вождей «детей Женевы», выступавших за независимость своего города. Почти триста лет спустя Байрон, посетивший Шильон, услышал здесь рассказ о Бониваре, увидел и каменную колонну, к которой был в течение шести лет прикован цепями вождь свободолюбивых швейцарцев, — так родилась поэма «Шильонский узник». Сейчас, беседуя с Сименоном, мы вспоминаем об этой поэме, говорим об истории Шильона, о его средневековых темницах и камерах пыток — каким

великолепным «фоном» для приключенческой или детективной повести мог бы послужить этот овеянный мрачными легендами замок.

— Может быть, может быть,— соглашается Сименон.— Старинные предания и легенды действительно представляют собой богатейший и во многом еще не разработанный «литературный рудник», хотя должен сказать, что средневековые темницы, звон кандалов и узник, которому благородный «некто» переправляет запеченные в хлебную ковригу напильник и веревочную лестницу, не мое амплуа. Но дело не в этом. Дело в том, что для меня детективные повести, романы, рассказы — дело прошлое, перевернутая страница...

Жорж Сименон, бесспорно, один из самых популярных современных западных авторов. На его писательском счету — свыше двухсот книг; почти все они изданы не только на французском, но и на многих других языках, более сорока произведений экранизировано. Подсчитано, что каждые три дня в мире выходит один «Сименон» — переиздание или перевод. Чем же вызвано решение писателя прекратить работу в детективном жанре?

— Еще несколько лет назад один журналист, будучи в моем доме, увидел вот эту дюжину трубок и написал: «Коллекционирование трубок — хобби Сименона». Он ошибся: это не коллекция, а просто трубки для курения. А если уж говорить, о моем настоящем хобби, которому я не изменял более полувека, то это — коллекционирование человеческих характеров. Вы спрашивали меня о вершинах и законах детективного жанра. Убежден: любой литературный жанр, в том числе и детективный, хорош только при том условии, если на страницах книги присутствуют не манекены, а живые люди со всеми их достоинствами и недостатками, может быть, пороками, а автор старается в меру способностей и сил понять этих людей, объяснить причины их поступков...

Он взял с камина красную вишневую трубку, не спеша набил ее ароматным голландским «кланом».

— За долгие годы жизни я встречался со многими людьми и с неизменным интересом старался понять, изучить их, теперь, на склоне лет, мне хотелось бы разобраться в себе самом. Правда, издатели, кинорежиссеры, телевизионные компании продолжают с удивительным упорством атаковать меня, требуя, чтобы комиссар Мегрэ вновь появился на страницах книг, на теле- и киноэкранах, но двери этого дома прочно закрыты для них, как, впрочем, и для журналистов. Исключение, как видите, сделано только для вас. И знаете, почему?

Он улыбается, лукавые морщинки стайкой разбегаются от глаз.

— Мой прадед был солдатом в армии Наполеона, участвовал в русском походе 1812 года. Под Москвой его тяжело ранило в ногу осколком снаряда. Отступая, наполеоновская армия вывозила раненых на телегах, бросая многих на пути. Моему прадеду повезло: ему удалось добраться со своей частью до Фландрии, но там боли от раны так обострились, что товарищи решили оставить его в деревенском доме, повстречавшемся по пути. Добрая женщина-крестьянка выходила раненого солдата, а он, увлекшись ею, предложил ей руку и сердце и навсегда остался во Фландрии. Такова история моих предков.

Но вот что странно: фамилия Сименон — и на это обратили внимание еще мои родители — уникальна. Семейное предание на этот счет гласит: раненный под Москвой солдат, ставший волею судеб мужем доброй фламандки, вовсе не являлся французом, а был русским, который в результате ранения попал в плен и был насильно вывезен, а затем брошен во Фландрию отступающей армией. И фамилия у этого солдата была самая что ни на есть русская: Семенов. Только впоследствии жители фламандской деревушки трансформировали эту фамилию в более удобную для них в смысле произношения — Сименон...

Он видит изумление на наших лицах и заразительно смеется:

— Я знал, что наше семейное предание заинтересует вас! Впрочем... — писатель вновь говорит серьезно, — впрочем, семейная легенда — это, конечно, только легенда, хотя долгое время я ей целиком верил. А вот другие факты о моей связи с Россией, не нуждающиеся в доказательствах: моя мать, женщина небогатая, зарабатывала на хлеб тем, что сдавала внаем комнаты. Было это лет шестьдесят с лишним назад. Нашими главными квартирантами были русские и польские студенты, эмигранты-социалисты. Они-то и привили мне любовь к литературе, а первыми литературными произведениями, которые я прочел, были произведения не французских, а именно русских классиков — Достоевского, Гоголя, Чехова. Потом, разумеется, я познакомился с другими писателями, в том числе с Фолкнером, чьи произведения особенно высоко ценю, но первыми были, повторяю, писатели русские. Я навсегда полюбил великую русскую литературу и глубоко убежден, что именно эта литература достигла вершин, которые не превзойдены и поныне...

Он помолчал, задумавшись о чем-то.

— Да... Великие литературные образцы недостижимы, но с возрастом, вновь и вновь перечитывая произведения мировых

и прежде всего русских классиков, все сильнее ощущаешь необходимость взвесить прожитое и пережитое на весах времени. Писать об этом трудно: белый лист бумаги, лежащий на столе, всегда напоминает о работе, которая еще не сделана и которую надо сделать, тем более что контракт подписан, издатель ждет, а ведь раздумья о жизни не втиснешь в рамки контракта... Вот почему я не пишу более, а сидя перед диктофоном, просто размышляю вслух о прошлом, о людях, с которыми довелось встречаться, о своих близких и друзьях, многие из которых уже покинули этот мир. Надиктованный таким образом материал вошел, в частности, в книги «Следы шагов», «Письма матери». Что это — мемуары? Нет, так их не назовешь. Скорее, это раздумья о жизни, о людях, с которыми довелось встречаться, о том, как важно лучше понимать друг друга и всегда оставаться самим собой, чтобы противостоять пошлости, несправедливости...

При всем внешнем различии писателя и его знаменитого героя между ними, несомненно, существует глубокое духовное родство. Комиссар Мегрэ — тот Мегрэ, который выведен в повестях «Цена головы», «Смерть Сесили», «В подвалах отеля «Мажестик» и других лучших произведениях Сименона, тот Мегрэ, которого с таким блеском сыграл в кино Жан Габэн, — это вовсе не некий гениальный «супер-сыщик»; своими успехами в раскрытии преступлений он обязан прежде всего глубокому знанию психологии представителей различных слоев современного буржуазного общества. Он не скрывает, а напротив, подчеркивает свои симпатии к «маленькому человеку» этого общества, который, будучи задавлен бесчисленными жизненными тяготами, со страхом взирает на тупо вращающиеся маховики полицейской машины и делает все, чтобы, действуя вопреки логике окружающего его мира, где всегда виноват слабый, а сильный торжествует, восстановить истину и справедливость. Но эти качества — глубокое знание людей, симпатии к «маленькому человеку» — свойственны и самому Сименону. Не в этом ли главный секрет успеха его лучших книг?

Наш хозяин открыл широкую стеклянную дверь, выходящую прямо на зеленую лужайку, посреди которой высится гигантский ливанский кедр, — бережно сохраняющийся уголок живой природы, со всех сторон сжатый современными многоэтажными домами — башнями из бетона, алюминия и стекла.

— Много лет назад некий богатый ливанец приехал в Швейцарию, чтобы вылечить от тяжелого недуга. Здешние медики помогли ему, и в благодарность он прислал Лозанне 200 саженцев ливанского кедра. Перед вами — единственное дерево, сохранившееся с тех пор, ему 220 лет. Этот участок

земли, а следовательно, и кедр — моя собственность, однако я не вправе не только срубить кедр, если бы даже мне пришла в голову такая сумасбродная мысль, но несу ответственность перед городскими властями за его сохранность и обязан немедленно сообщать в управление по охране памятников о каждом случае, когда ветер или забредший на поляну мальчишка сломает ветку. Дерево — одна из достопримечательностей города, и мне очень по душе, что город так заботится о нем. Беречь и любить окружающую нас природу — как это важно и для нас и для грядущих поколений! Природа, которая подвергается в наш индустриальный век таким серьезным опасностям, зовет людей к большему взаимопониманию, к сотрудничеству, — об этом я тоже хочу сказать в своих эссе...

Мысль его снова возвращается к России.

— Я был в Советском Союзе десять с лишним лет назад — в Одессе, Батуми. В памяти остались не только удивительно яркие живописные краски этих южных краев, но и какое-то особое дружелюбие, приветливость людей — с этими качествами редко сталкиваешься здесь, на Западе. Однажды я гулял с внучкой по Одессе, к нам подошли незнакомая дама и мальчик, он протянул моей внучке несколько ярких гвоздик, они улыбнулись и пошли дальше... Штрих, незначительная деталь? Для Парижа, Брюсселя, Нью-Йорка, для любого западного города, это был бы необыкновенный, исключительный эпизод. Думается, человеческие отношения сохранили в вашей стране и искренность и душевную теплоту. А ведь это — такая редкость в том мире, в котором я живу...

СОДЕРЖАНИЕ

Наш друг Алекс Ла Гума	3
«Сначала меч и борьба...»	10
Точка отсчета	16
Рядом с разведчиком	22
Девять вопросов человеку с улицы Огня	28
Под крышей, на которой живет Карлсон	35
В Лозанне, у Сименона...	41

Юрий Эмануилович Корнилов

ПОД КРЫШЕЙ, НА КОТОРОЙ ЖИВЕТ КАРЛСОН

Редактор Д. К. Иванов.

Технический редактор З. П. Кузнецова.

Сдано в набор 18.01.80. Подписано к печати 25.03.80. А 00344.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Новогазет-
ная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 2,95.
Тираж 100 000 экз. Изд. № 803. Зак. № 1911. Цена 10 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-137, ГСП,
ул. «Правды», 24.